

196
698
А. А. БЕРСЬ.

БИБЛИОТЕКА
ПРОФ. П. П.
И. И. ВОСТОКОВСКИ
Он д. н. н. 4. 1. 84. 10

ПРАВСТВЕННОСТЬ

КАКЪ

НЕМИНУЕМЫЙ ПРОДУКТЪ
ОБЩЕСТВЕННЫХЪ ИНСТИНКТОВЪ.

(Дарвинизмъ въ этикѣ и роль религіи въ эволюціи этики).

ИЗДАНИЕ АВТОРА.

Цѣна 40 коп.

1908.

В 4759



2024366112

К Н И Г А И М Е Е Т:

Печатн. листов	Выпуск	В перепл. един. соедин. №№ вып.	Таблиц	Карт	Иллюстр.	Служебн. №№	№№ списка и порядковый
3						81	$\frac{336}{176}$

1957 6

627/16—250 тыс.

100

100

R 196
698

11/2002

Нравственность, какъ неминуемый продуктъ общественныхъ инстинктовъ.

(Дарвинизмъ въ этикѣ и роль религіи въ эволюціи этики).

I.

Автономія нравственнаго чувства и роль религіи въ эволюціи этики.



Философія нравственности разбираетъ поступки человѣка и дѣлитъ ихъ на нравственные и безнравственные; общество одобряетъ первые и порицаетъ вторые. Богословіе ставитъ нравственные поступки въ зависимость не отъ самого человѣка, котораго оно считаетъ слабымъ и обращающимся во грѣхъ, а въ зависимость отъ посланнаго ему свыше откровенія. Даже Кантъ, считавшій невозможнымъ допустить существованіе этой связи между нами и небомъ, невозможной уже въ силу того, что понятіе о трансцендентности, какъ понятіе, неподлежащее естественно-научному познанію, никакъ не можетъ ввязаться съ нашими представленіями *всегда и вездѣ* ограниченными какъ пространствомъ, такъ и временемъ, даже Кантъ, и тотъ, не смотря на все это, относился къ нравственному сознанію человѣка какъ къ чему-то открывшемуся ему какъ будто изъ какого-то таинственнаго невѣдомаго міра. Конечно, до появленія эволюціонной теоріи Дарвина, нашедшей себѣ одинаковое оправданіе какъ въ физическомъ такъ и въ духовномъ мірѣ, трудно было признать нравственное чувство, какъ это признаютъ теперь, *имманентною* особенностью общественнаго сожителства, т. е. особенностью, *присущую* самому факту общественнаго сожителства. Тогда приходилось или вовсе отказать отъ разъясненія генезиса нравственнаго чувства, или же давать разъясненію, что многіе и дѣлали, трансцендентальный характеръ т. е. на прочность мірозданія, на гармонію въ природѣ и въ жизни смотрѣли какъ на проявленіе божественной воли. Добавимъ, что теорія Дарвина сдѣлала лишь попытку разъяснить происхожденіе нравственнаго чувства; но лишь только ей приходится отвѣчать на поставленный ей вопросъ—почему одинъ человѣкъ склоненъ къ состраданію а другой ему чуждъ?—она точно такъ же становится въ тупикъ, отказывается разъяснить эту тайну и отвѣчаетъ то же самое, что и богословіе, а именно: одному дано, а другому не дано. *)

*) Вотъ въ нѣсколькихъ словахъ философская идея теоріи Дарвина. Всякому качеству, оказавшемуся полезнымъ животному или растенію въ ихъ борьбѣ за существованіе, суждено въ дальнѣйшемъ не слабѣть, а крѣпнуть, развиваться. Полезное качество передается по наслѣдству, вслѣдствіе

82859

Благодаря развитой Дарвиномъ теоріи естественнаго подбора обязательно совершающагося вездѣ, гдѣ только происходитъ борьба за существованіе, не только явленія изъ міра физическаго но и явленія изъ міра духовнаго, какъ напр. нравственныя идеи, стали считаться *естественнымъ* продуктомъ борьбы между собой за существованіе разныхъ этическихъ идей, причемъ идеи болѣе полезныя обществу мало по малу вытѣсняли идеи случайныя менѣе ему полезныя. Такъ, что мышленіе точно такъ же выработалось естественно, эволюціоннымъ путемъ, какъ выработалось и пищевареніе, и дыханіе; а потому, оно и подлежитъ точно такому же анализу, какъ и явленіе изъ міра физическаго; иначе говоря, и нравственное мышленіе обусловлено точно такимъ же *естественнымъ* закономъ причинности какъ и пищевареніе, какъ и дыханіе. Понять явленіе можно только тогда, когда мы будемъ знать его происхожденіе и ходъ его развитія. Въ данномъ случаѣ, разрѣшеніе вопроса о происхожденіи и эволюціи нравственнаго чувства весьма затруднительно, мы наталкиваемся на такія противорѣчія, которые даже при тонкомъ психологическомъ анализѣ трудно а иногда даже вовсе неразрѣшны. Такъ напр. мы знаемъ, что всякое твореніе, будь то человѣкъ, животное или растение, есть въ своемъ основаніи твореніе эгоистичное; растение выбираетъ для себя болѣе удобныя для произростанія условія; рыба ищетъ гдѣ глубже, а человѣкъ—гдѣ лучше; всѣ одинаково стремятся удовлетворить свой основной, эгоистичный, регулятивный принципъ жизни. Въ человѣкѣ же, мы видимъ этотъ принципъ иногда вовсе нарушеннымъ; человѣкъ впадаетъ въ явное протворѣчіе со своей естественной природой; мы видимъ, что иногда онъ печется о другихъ гораздо болѣе, чѣмъ о себѣ самомъ. Трудно постичь, какъ могъ человѣкъ дойти до такого противорѣчія со своей собственной естественной природой, противорѣчія, отличающаго его, въ этомъ отношеніи, отъ всего остальнаго живаго міра? Сказать, что альтруистическое чувство есть нѣчто прирожденное самому человѣку, ровно ничего ни говорить. Здѣсь придется гораздо глубже прослѣдить исторію возникновенія этого совсѣмъ особеннаго чувства, въ силу котораго человѣкъ находитъ удовольствіе въ лишеніи себя въ пользу другого, а иногда даже въ самопожертвованіи. Въ нашемъ очеркѣ мы постараемся разяснить, что обычный кодексъ нравственной жизни, которымъ руководствуется общество въ своей обыденной, всенедневной жизни вырабатывается самимъ же обществомъ безъ всякаго насильственнаго давленія извнѣ, и вырабатывается самымъ обыкновеннымъ практическимъ, *утилитарнымъ* путемъ. Всякаго члена общества, поступающаго по этому кодексу (не убій, не укради и проч.), никто не назоветъ безнравственнымъ; но тоже никто и не назоветъ его высоконравственнымъ, такъ какъ въ его обычно-нравственныхъ поступкахъ, только что упомянутыхъ, не замѣтно поползновеніе обновить свой кодексъ жизни лучшими формами

чего оцѣнка его полезности съ каждымъ поколѣніемъ дѣлается все строже и строже; шансъ же побѣды будетъ за тѣмъ субъектомъ, въ которомъ унаслѣдованное качество развито интенсивнѣе. Такимъ образомъ, полезныя качества сами собой совершенствуются естественнымъ путемъ. Такъ что *естественный подборъ* (лучше сказать *отборъ*) есть та *творческая сила* природы, (Кантъ называлъ эту силу духомъ Вожимъ) которая помимо всякаго желанія животныхъ. *сама* сортируетъ борющихся за свое существованіе, отбирая и развивая въ нихъ все полезное и въ то же время рудиментируя въ нихъ все бесполезное, случайное, все мѣшающее эволюціи.

жизни, т. е. не только не убивать, но пожертвовать собой, не только не красть, но отдать свое другому, и т. д. Про человѣка обычно-нравственнаго можно сказать только то, что онъ поступаетъ закономѣрно, что его кодексъ жизни составляетъ *минимумъ* нравственности (не убій, не укради), безъ котораго общество не могло бы существовать; и что такой человѣкъ, со своей инертной обычной нравственностью, скорѣй прозябаетъ чѣмъ живетъ (китайцы). Теперь возникаетъ дѣльный рядъ вопросовъ: откуда могъ человѣкъ почерпнуть лучшія формы жизни, которыя вывели его на путь самосовершенствованія? Какимъ путемъ легальные обычно нравственные поступки человѣка могли обратиться въ высоконравственные? Какимъ свѣтомъ былъ освѣщенъ тотъ путь, который привелъ человѣка къ идеѣ самопожертвованія? Мы постараемся отвѣтить на эти вопросы, показавъ, что единственнымъ источникомъ широкаго нравственнаго обновления послужила и продолжаетъ человѣку служить только *религія*, понимая ее въ смыслѣ идеальной области, отражающей въ себѣ лучшія нравственные побужденія самого же человѣка, Значитъ, вопросъ сводится къ тому, какія пружины нажимали на естественную, эгоистичную волю человѣка, которая приняла альтруистическое направленіе и счумѣла въ корни переработать животную натуру человѣка? Этотъ вопросъ очень сложный и глубокой; онъ охватываетъ собой все то, что чувствовалъ Христосъ, вся проповѣдь котораго состояла только въ томъ, чтобы перенести людей изъ міра *обычной нравственности* въ высшія сферы, т. е. въ міръ уже *высоко-нравственный*.

Намъ внушено съ дѣтства и школой и церковью, что обычно-нравственные принципы (напр. не убій, не укради и друг.), служащіе основаніемъ общественному сожитію, даны намъ небесами, т. е. заимствованы нами, будто бы, изъ данной намъ небесами религіи. И это внушено намъ до того сильно, что люди, въ которыхъ еще не созрѣло сознание своихъ гражданскихъ относительно общества и государства обязанностей, воздерживаются отъ нарушенія этихъ обычно-нравственныхъ принциповъ исключительно только въ силу страха отвѣта на томъ свѣтѣ. Честь и слава тому государству, которое счумѣло воспользоваться этимъ первобытнымъ религіознымъ чувствомъ страха и счумѣло укрѣпить въ народѣ уваженіе къ хорошимъ законамъ. Но въ большинствѣ случаевъ этого-то мы и не видимъ. Люди власть имѣющіе весьма часто пользуются этимъ религіознымъ чувствомъ страха совсѣмъ для иныхъ дѣлей. Они говорятъ народу, что если онъ нарушитъ извѣстное установленіе, призванное государствомъ за нравственное (весьма часто идущее въ разрѣзъ съ ученіемъ Христа); то его за это покараетъ Господь Богъ. Имъ часто вторитъ и церковь. Такимъ образомъ, средневѣковые рыцари, ради вѣры въ Бога и клятвы, данной въ церкви, обязывались проливать вражью кровь. Неужели можно сказать, что подобное установленіе, какъ проливаніе крови, противорѣчащее ученію Христа, могло вытекать изъ вѣры въ Бога? Неужели такое установленіе узаконеннаго убійства не было оскорбленіемъ религіи, призванной указывать лучшія формы жизни, а не нарушать ихъ? Очевидно, что подобные обычно-нравственные принципы не могли быть намъ даны небесами. Мнѣніе богослововъ объ обычной, такъ сказать ходячей нравственности (не убій, не укради и т. д.), какъ о дѣтищѣ, будто бы, религіи, обоснованы у нихъ повидимому, какъ будто, обстоятельно. Факты, ими приводимые, вѣрны; но ихъ выводы грѣшатъ противъ истины. Богословы приводятъ въ примѣръ религіи низшихъ расъ; они ука-

зываютъ, что у этихъ расъ этической строй жизни всегда тѣсно связанъ съ ихъ религіей, т. е. люди поступаютъ такъ, какъ пріятно ихъ богамъ, и избѣгаютъ дѣлать то, что богамъ непріятно. Въ болѣе развитыхъ политеистическихъ религіяхъ, напр. въ парсизмѣ, богословы замѣчаютъ то же самое—то дѣло считается похвальнымъ, которое исходитъ отъ Ормузда; порицается же то дѣло, которое исходитъ отъ Аримана. Весь нравственный строй приверженцовъ парсизма руководится, какъ будто, желаніями этихъ двухъ боговъ—добра и зла. Въ буддизмѣ, всё мысли, всё поступки, вся обычная жизнь буддиста, проникнуты идеями, преподанными Буддой. У египтянъ, все доброе исходило отъ Озириса, все же злое отъ Тифона. У древнихъ грековъ, замѣтна еще большая связь обычаевъ и нравовъ съ Олимпомъ. Желаніе боговъ служило грекамъ закономъ; весь ихъ общественно-нравственный обиходъ всецѣло руководился вкусами боговъ. Вся ихъ политическая и общественная жизнь шла путемъ какъ бы указаннымъ богами. Въ вѣтхозавѣтныхъ преданіяхъ замѣчается та-же зависимость этики отъ религіи. Еврей не убивалъ, ибо это было запрещено Иеговой; онъ чтилъ отца и мать, ибо это было угодно Иеговѣ, и т. д. Весь обычно-этической строй жизни древнееврея былъ всецѣло основанъ только на строгомъ выполненіи воли Иеговы, который въ нѣсколькихъ словахъ далъ общее направленіе еврейской этической мысли: „будьте святы, ибо Я святъ (Лев. XI. 44). Въ христіанствѣ этическое возрѣніе хотя и претерпѣваетъ нѣкоторое измѣненіе—оно принимаетъ болѣе одухотворенную форму — но оно все-таки продолжаетъ сохранять свою зависимость отъ религіи, а именно, всякій нравственный поступокъ считается не только поступкомъ, угоднымъ Богу (какъ и у евреевъ), но тоже и самостоятельнымъ плодомъ обновленнаго Богомъ сердца человѣка, который за посланное ему Богомъ откровеніе (обновленіе сердца), какъ бы въ благодарность необходимо совершаетъ нравственные поступки. Такъ что центральная мысль, руководящая въ христіанствѣ нравственными поступками, есть, какъ выражаются богословы, не только страхъ наказанія за невыполненіе требованій Бога (какъ у евреевъ), сколько желаніе выказать Богу свою сыновнюю любовь; значить по выводу богослововъ и въ христіанствѣ хотя и своеобразно но все-таки же установлена извѣстная генетическая связь обычной нравственности съ религіей.

Все это очевидно и никто съ этимъ не будетъ спорить. Дѣло только въ томъ, правильно ли освѣтила теологія всѣ эти вышеприведенные ею факты? Теологія взяла за исходный пунктъ не психологію—единственную науку, способную разъяснить эту связь—а всюду распространенную вѣру народовъ въ то, что приказаніе поступать въ обычной жизни такъ-то а не иначе, ниспослано съ небесъ. И на этомъ-то шаткомъ фундаментѣ не подвергая его серьезному психологическому изслѣдованію, фундаментъ, который еще надо доказать, теологія построила грандіозное зданіе, украшенное изрѣченіями многихъ богословскихъ авторитетовъ, высказавшихъ, что вслѣдствіе первороднаго грѣха, въ человѣкѣ не осталось ровно ничего возвышеннаго. А потому, если онъ иногда и поступаетъ хорошо, то это исходитъ не изъ него самого а это ему указываютъ небеса.

Таковъ выводъ теологіи. Она рѣшаетъ безапелляционно, что обычная нравственность всецѣло преподана небесами. Затѣмъ она говоритъ, что не будь религіи, т. е. не будь свыше повелѣній поступать въ обычной жизни такъ-то а не иначе, люди стали бы воровать и другъ друга убивать; а общество распалось бы по всѣмъ своимъ швамъ. Но такъ ли это

на самомъ дѣлѣ? Можетъ ли наука помириться съ той идеей, что обычная нравственность, представляющая изъ себя лишь *minimum* нравственныхъ требованій, дабы только не распалось общество, что эта нравственность была внушена религіей, этимъ зеркаломъ, въ которомъ отражаются лишь высшіе нравственные идеалы человѣка? Вѣдь дѣло религіи не возиться съ обычнымъ общественнымъ строемъ, не строить подобно Моисею и Ликургу обычно—этические кодексы жизни, служащіе вовсе не для того, чтобъ изъ жизни сдѣлать рай, а для того только чтобъ она не обратилась бы въ адъ,—эти зданія вырабатываются сами собой, удерживая въ себѣ все полезное для общества и удаляя все для него бесполезное—дѣло религіи состоитъ совсѣмъ въ другомъ, а именно, въ преподаваніи возвышенныхъ цѣлей, въ освѣщеніи и облагораживаніи тѣхъ обыденныхъ формъ совмѣстной жизни, которыя выработаны людьми въ ихъ борьбѣ за существованіе. Ея дѣло улетать далеко за предѣлы общественного строя, всегда отстающаго отъ тѣхъ формъ, которыя, въ то же время, создаетъ себѣ высоко витающая въ идеально-религіозномъ мірѣ мысль, требующая отъ человѣка чтобъ онъ не только не воровалъ, не убивалъ, (законъ Моисея), но чтобъ онъ давалъ и жертвовалъ бы своею жизнью (завѣтъ Христа). Было бы очень печально, если бы обычная нравственность была лишена живаго источника для своего обновленія. Но она не лишена этого источника; этотъ источникъ и есть сама область религіи, тѣсно связанная съ эволюціей обычно-утилитарной нравственности. Но эту связь богословы ищутъ не тамъ, гдѣ она въ дѣйствительности существуетъ. Эта связь совсѣмъ иного рода, она не генетическая, какъ полагаетъ теологія (т. е. обычная нравственность, будто бы есть всецѣло дѣтище религіи), а связь невольная должествующая установиться между двумя совсѣмъ *разными* областями, вродѣ того, какъ часто устанавливается невольная связь между людьми совсѣмъ отличными другъ отъ друга, которыхъ связываетъ не ихъ сходство, а напротивъ того, ихъ контрастъ, причѣмъ великодушные порывы одного (въ нашемъ случаѣ область религіи) дѣйствуютъ смягчающе на грубый эгоизмъ другаго (въ нашемъ случаѣ область обычной нравственности). Эту связь надо видѣть только въ томъ, что религія, какъ отраженіе высоконравственнаго сознанія человѣка, должна служить не источникомъ обычной нравственности, а только руководящимъ въ ея эволюціи маякомъ. Такимъ образомъ, идея собственности, утилитарно выработанная обычнымъ теченіемъ жизни но освѣщенная христіанскимъ свѣтомъ, преобразовалась уже въ идею жертвы, даже въ идею самопожертвованія. Такъ смотритъ наука на связь обычной нравственности съ религіей; и она понимаетъ ее, какъ мы только что сказали, совсѣмъ иначе чѣмъ понимаетъ ее теологія. Обычная нравственность есть для теологіи всецѣло даръ небесъ, преподнесенный человѣку въ готовомъ видѣ; наука же смотритъ на обычную нравственность какъ на нѣчто выработанное *утилитарнымъ* путемъ самою жизнью народа, т. е. выработанное не иначе какъ въ интересахъ поддержанія общественности, стремленіе къ которой есть природный инстинктъ человѣка; значить, выработанное, такъ сказать, инстинктивно. Если бы человѣкъ плодилъ такъ же быстро какъ одаренныя общественнымъ инстинктомъ пчелы, то убійство лишнихъ особей, какъ это мы видимъ у пчелъ, навѣрно считалось бы полезнымъ, а слѣдовательно и нравственнымъ, и оправдывалось бы общественнымъ мнѣніемъ какъ средство, ведущее къ благосостоянію особей

дорожащихъ сообществомъ; ибо иначе обществу отъ недостатка пищи пришлось бы распасться. Гдѣ же тутъ даръ небесъ, когда убійство можетъ войти въ обычный кодексъ какъ средство, *полезное* для поддержанія общественности, а потому, и имѣющее право называться *нравственнымъ*, добродѣтельнымъ? Оказывается, что добродѣтель можетъ быть разложена на болѣе простыя идеи чѣмъ тѣ, которыя обыкновенно въ нее вкладываютъ. И эти идеи почерпаются въ каждомъ данномъ случаѣ не иначе какъ изъ опыта, ибо что въ одномъ случаѣ приводитъ къ неблагополучію, то въ другомъ случаѣ приводитъ къ благополучію; что хорошо для одного народа, то оказывается худымъ для другого. У дикихъ народовъ всегда выступаетъ на первый планъ ихъ племенные интересы, по мѣрѣ измѣненія которыхъ, измѣняются и обычные нравственные требованія, предъявляемые каждому члену сообщества. Все то, что считается полезнымъ для племени (напр. уничтоженіе опасныхъ сосѣдей), то и считается нравственнымъ; а все то, что вредно для племени, то считается безнравственнымъ. Это и есть основной утилитарный принципъ, въ силу котораго выработалась въ дикарѣ его обычная нравственность. Тѣ-же самыя утилитарныя идеи вкладываетъ дикарь и въ своихъ боговъ. Отъ однихъ боговъ исходить все полезное для племени, отъ другихъ— все вредное. Такимъ образомъ, устанавливается связь нравственныхъ поступковъ дикаря съ его религіознымъ міромъ; его этика тождественна съ религіей. Но здѣсь нравственные поступки вытекаютъ не изъ религіи (какъ это утверждаетъ теологія), а наоборотъ, религія идетъ на буксирѣ у нравственного міровоззрѣнія дикаря. Въ болѣе развитыхъ религіяхъ, дѣло обстоитъ не иначе. Прежде чѣмъ появились Ормуздъ и Ариманъ, идеи добра и зла давнымъ давно уже были практически выработаны въ сознаніи народа, который видѣлъ въ этихъ богахъ только олицетвореніе своихъ же собственныхъ сокровенныхъ мыслей; оттого эти боги ему и милы. Теологія не желаетъ знать того, что ранѣе идеала обязательно должна быть идея; а потому, она и объясняетъ тѣсную связь обычной этики съ богами посвоему, и говоритъ, что нравственные поступки напр. парсовъ руководятся ничѣмъ инымъ какъ богами Ормуздомъ и Ариманомъ. У народовъ Индіи, Халдеи, Египта, Финикіи и друг., мы видимъ такую же тѣсную связь народной обычной этики съ религіей, причемъ вездѣ религія оказывается зеркаломъ, отражающимъ въ себѣ обычную этику народа, который этого конечно не сознаетъ и утверждаетъ противное, а именно, что онъ самъ отражаетъ въ себѣ божество, т. е. онъ поступаетъ такъ, какъ того хочетъ божество. Даже въ такихъ религіяхъ, которыя считаются созданными отдѣльными личностями (напр. Конфуціемъ), и тамъ, идеи, высказанныя въ проповѣди, не были полной новизной для народа; вѣручитель бралъ у него тѣ добрыя сѣмена, которыя уже были въ немъ заложены но только подавлены суетой жизни въ ея борьбѣ за существованіе, и давалъ имъ въ своей проповѣди возможность разростись въ роскошное растеніе. Неоспоримо, что если бы дѣло обстояло иначе въ религіяхъ, т. е. если бы идеаль существовалъ раньше идеи, то голосъ вѣручителя былъ бы глаголомъ вопіющаго въ пустыни и его проповѣдь, упавшая на неподготовленную почву, не нашла бы себѣ въ народѣ отклика. Въ религіи древнегрековъ еще яснѣе подтверждается мысль, что религія всегда есть выхоленное дѣтище нравственнаго сознанія народа, а не на оборотъ. Въ началѣ, греческіе боги олицетворяли собой полезныя и вредныя силы

природы, Понемногу грубыя идеи пользы и вреда преобразовались въ абстрактныя идеи добра и зла. Обѣ эти послѣднія идеи весьма послѣдовательнымъ мышленіемъ внесены въ религію, въ ней олицетворены и идеализированы, чему не мало способствовали великіе поэты Атики. Весь Олимпъ представлялъ изъ себя не что иное, какъ постепенно и незамѣтно образовавшуюся индукціоннымъ путемъ объективизацію самыхъ разнообразныхъ физическихъ и духовныхъ качествъ греческаго народа. Здѣсь случилось то, что намъ часто приходится наблюдать въ жизни. Положимъ, что обществомъ или творчествомъ одного лица (это для насъ безразлично) практически выработанъ уставъ, сдѣлавшійся въ дальнѣйшемъ уже силой, требующей отъ членовъ общества исполненія его пунктовъ, и даже штрафующій членовъ за неисполненіе этихъ пунктовъ. Не то ли же самое видимъ мы и у грековъ? Народъ создалъ Олимпъ въ духѣ своего нравственного міровоззрѣнія; а затѣмъ, добровольно наложивъ на себя узду, покорно исполнялъ требованія Олимпа, въ зависимость отъ котораго и ставилъ всѣ свои нравственные поступки. Подобное добровольное накладываніе на себя узды, въ видѣ исполненія требованій боговъ, весьма понятно и вытекаетъ изъ желанія слабаго духомъ человѣка обрѣсть на сторонѣ такую силу, которая могла бы воздѣйствовать на его слабую волю, безъ которой ему трудно упорядочить свои поступки. Точно такъ же понятна и идея божескаго наказанія, посылаемаго на неисполнившаго требованія боговъ—идея, соответствующая уставному добровольному штрафу, налагаемому на членовъ, неисполнившихъ пункты устава. Все это весьма послѣдовательно приводило въ роучителей и даже законодателей къ тому, что они, ради закрѣпленія своихъ ученій или законовъ, вкладывали свои идеи въ уста боговъ или оракуловъ, какъ это сдѣлалъ Ликургъ. Для людей съ слабо развитой волей, съ слабымъ духомъ, подобный авторитетъ всегда имѣетъ рѣшающее значеніе. Воспитательное же значеніе такого авторитета не подлежитъ никакому сомнѣнію; онъ указываетъ пути и требуетъ *деспотично*, а народъ охотно ему повинуется, ибо требованія авторитета ему понятны, какъ нѣчто такое, что уже давно въ немъ сидѣло, но только въ видѣ зародыша.

Въ еврействѣ, творческій умъ такого гиганта какъ Моисей создалъ цѣлое этическое знаніе, сооруженное имъ въ духѣ нравственнаго міровоззрѣнія Израіля того времени, знаніе, находившее себѣ откликъ на каждомъ шагѣ въ практической жизни еврея, а потому, и пришедшее ему по душѣ. Все то, о чемъ мечталъ Израиль, все то, что въ немъ бродило, что сидѣло въ немъ въ видѣ зародыша, все это нашло себѣ образный откликъ въ обычно-этическомъ знаніи Моисея. Разсказъ Моисея объ откровеніи, явившемся ему на горѣ Синаѣ, закрѣпилъ вѣру народа въ выработанный практически Моисеемъ обычный нравственный кодексъ жизни, вѣру въ нѣчто, какъ будто, посланное Израілю свыше. Еврейскій народъ набожно вѣрилъ въ авторитетное божественное происхожденіе этихъ заветовъ, и тѣмъ закрѣпилъ въ себѣ убѣжденіе, что весь обычно-нравственный кодексъ жизни Израіля обусловленъ ничѣмъ инымъ, т. е. что всѣ нравственные поступки Израіля обусловлены ничѣмъ инымъ, какъ только приказаніемъ Бога поступать такъ, а не иначе. Такимъ образомъ, обычно-нравственный кодексъ жизни былъ поставленъ у евреевъ тоже въ исключительную зависимость только отъ религіи, тогда какъ на самомъ дѣлѣ, его выработка совершилась независимо отъ нея, чисто

практическимъ, утилитарнымъ способомъ. Заслуга же Моисея состояла только въ томъ, что онъ указалъ Израилю болѣе лучшія формы нравственнаго сожителства.

Въ христіанствѣ замѣчается однохарактерная съ еврействомъ связь обычной этики съ религіей. Разница только въ томъ, что Моисеемъ указана религіозная форма на словахъ; Христосъ же указалъ ее на себѣ самомъ. У Моисея Богъ *приказываетъ* людямъ жить такъ-то, а не иначе; у Христа же, Богъ *только желаетъ* лучшаго сожителства людей. У евреевъ нравственный поступокъ обусловленъ *страхомъ* наказанія, а у Христа—религіознымъ чувствомъ *любви* и благодарности къ Богу за неисполненное челоѣку духовное просвѣтленіе. Высоко-этическая личность Христа, глубиною своей проповѣди, а главное, своимъ личнымъ примѣромъ не могла не поражать его современниковъ; все то, о чемъ онъ говорилъ, все то, что онъ дѣлалъ, было для массы того времени до того необычайно, до того божественно и вмѣстѣ съ тѣмъ такъ понятно людямъ съ уже болѣе развитой душой, что эти послѣдніе стали смотрѣть на него, что весьма понятно и послѣдовательно, какъ на воплощеніе Бога, который послалъ Христа показать людямъ, какъ слѣдуетъ жить и умирать. Эта вѣра закрѣпила тѣсную связь между обычной нравственностью того времени и преподанными Христомъ ея высшими формами: нравственные поступки стали считать, какъ будто, инспирированными Богомъ, желающимъ видѣть людей, слѣдующихъ завѣтамъ Христа.

И такъ, во всѣхъ религіяхъ нравственный строй ставится теологіей въ полную зависимость отъ религіи; вездѣ звучитъ одна и та же нотка—божество этого желаетъ, а потому мы и должны такъ поступать.

Какъ теперь помирить споръ теологіи съ наукой, утверждающей со-всѣмъ ей противоположное, а именно, что религія идетъ на буксирѣ у этики, т. е. что сперва была идея, а уже затѣмъ, появился идеаль? Намъ кажется, что стоитъ сторонамъ только договориться между собой и споръ долженъ самъ собой прекратиться, ибо не о чемъ будетъ спорить. Договориться же онѣ могутъ только тогда, когда теологія перестанетъ грѣшить противъ истины и разумно согласится съ наукой въ томъ, что такой сложный феноменъ какъ нравственное чувство, не могъ быть сотворенъ уже готовымъ и развитымъ; онъ долженъ былъ имѣть свое зарожденіе, развитіе и совершенствованіе. Что же касается до воздѣйствія религіи на эволюцію нравственнаго чувства, то въ этомъ обѣ стороны не могутъ разойтись, ибо для нихъ религіозное чувство одинаково должно представлять изъ себя стремленіе къ лучшимъ формамъ жизни и желаніе осуществить ихъ на дѣлѣ. Разберемъ болѣе подробно связь обычной нравственности съ религіей.

Какъ надо понимать *нравственность*?

Извѣстныя мысли и поступки членовъ сообщества, сдѣлавшіяся, въ силу привычки, обычными, нормальными въ силу ихъ *полезности* для сообщества, считаются обычно-нравственными; и члены привыкли считать ихъ таковыми съ малолѣтства.

Всякій разъ, когда членъ сообщества отступить отъ обычной нравственности (убить или украсть), его поступокъ отзывается на другихъ членахъ тяжелымъ чувствомъ недовольства, чувствомъ, нарушающимъ обычное, спокойное психическое равновѣсіе всего общества и каждого члена въ отдѣльности. Зачатки подобнаго обычно-нравственнаго сознанія замѣчаются тоже и въ животномъ царствѣ; какое нибудь совершен-

ное членомъ сожителства нарушение обычнаго строя сейчасъ же возбуждаетъ въ остальныхъ членахъ безпокойство, энергія котораго наиболѣе тамъ, гдѣ наиболѣе развита общественность. Конечно тутъ громадная разница между безпокойствомъ человѣка и животнаго, выведенныхъ изъ ихъ обычной колеи жизни. Человѣкъ относится къ поступку, нарушившему порядокъ живни, *сознательно*; животное же ощущаетъ нарушение безсознательно и только *инстинктивно* высказываетъ свое недовольство. Въ обоихъ же случаяхъ, одинаково высказывается протестъ противъ поступковъ, *вредныхъ* для общества. Такъ, что совѣсть, проявляющаяся въ человѣкѣ въ видѣ сознательнаго регулятора, запрещающая совершать извѣстные поступки, есть въ низшихъ сообществахъ не что иное, какъ такой же внутренней голосъ, присущій расѣ, но только инстинктивно, въ силу привычки, чувствующій каждый разъ нарушение обычнаго порядка, голосъ, инстинктивно накладывающій, такъ сказать, свое veto на *вредныя* для сообщества дѣянія отдѣльныхъ членовъ. Очевидно, что сознательный протестъ человѣка, называемый совѣстью, и инстинктивный протестъ животнаго, мыслимы не иначе, какъ только въ общественномъ сожителствѣ. У человѣка, на зарѣ его сознанія, этотъ протестъ вытекалъ точно такъ же какъ и у животнаго только изъ грубаго ощущенія личнаго вреда; но уже въ позднѣйшее время, это грубое ощущеніе преобразилось, при помощи религіознаго чувства, въ абстрактную идею зла, при чемъ утилитарный характеръ протеста отнюдь не былъ потерянъ, такъ какъ всякое зло, какое оно нибудь, обязательно должно быть вреднымъ и доставлять неприятыя ощущенія. Этотъ метаморфозъ идеи вреда въ идею зла совершался послѣдовательно, и все время, эти обѣ идеи—вреда и зла, какъ идеи коррелятивныя (существующія), другъ друга не покидали. Религіозныя же идеи добра и зла неминуемо привели сознаніе къ идеѣ *долга*, обязывающаго человѣка дѣлать добро и избѣгать зла; а затѣмъ, привели и къ идеѣ совѣсти. Теперь уже, въ силу приобрѣтенной привычки, всякое доброе дѣло, уже само по себѣ, считается *похвальнымъ*; въ немъ, идея пользы, какъ будто, отсутствуетъ, мы о ней, какъ будто, забываемъ; а между тѣмъ, развѣ мыслимо какое нибудь доброе дѣло безъ приносимой имъ пользы? Изъ этого мы видимъ, что руководящимъ факторомъ, при выработкѣ въ человѣческомъ обществѣ нравственнаго чувства, былъ какъ и въ животномъ мірѣ *утилитаризмъ*, т. е. идеи пользы и вреда. Религія же, воспользовавшись первобытными чисто утилитарными формами нравственности, выработала изъ нихъ уже лучшія, болѣе мягкія формы, внесла ихъ въ жизнь и тѣмъ облагородила идею грубаго утилитаризма, хотя, повторимъ еще разъ, ее не уничтожила. Въ тѣхъ первобытныхъ обществахъ, гдѣ обычно-нравственный кодексъ жизни не переступалъ границъ грубой пользы и вреда, тамъ для совѣсти конечно было не много дѣла; тамъ сама шкура, отличая вредное отъ полезнаго, ставила критеріумъ поступку. Но этой зачаточной совѣсти было бы невозможно выбратья на свѣтъ Божій, если бы ей не пришла на помощь религія, въ которой всегда имѣется большой запасъ еще неиспользованныхъ высшихъ, желанныхъ, но трудно выполнимыхъ идей; она постепенно выводитъ ее на болѣе широкій путь и дѣлаетъ ее все болѣе и болѣе сознательной руководительницей поступковъ. Вотъ въ общихъ словахъ ходъ эволюціи нравственнаго чувства.

Насъ удивляетъ только то, что теологія, которая по настоящему,

должна имѣть дѣло *только* съ психологіей,—ибо религія есть отраженіе духа человѣка—что теологія вовсе не желаетъ имѣть съ ней дѣло, а упорно стоитъ на своемъ а именно, что добро внушено человѣку свыше. Развѣ можно внушить человѣку то, чего онъ не въ силахъ понять? Развѣ можно кровожаднаго по своей натурѣ тигра сдѣлать ягненкомъ? Если человѣкъ временно и поддается внушенію, то безъ подготовленной для того почвы это не можетъ совершиться, ибо иначе, внушеніе будетъ покоиться на зыбкой почвѣ и будетъ мало и даже вовсе непродуктивно. Затѣмъ, намъ непонятенъ страхъ теологовъ коснуться исторіи происхожденія нравственнаго чувства; они точно боятся этимъ умалить значеніе религіи, какъ руководительницы высоко нравственныхъ поступковъ человѣка, съ чѣмъ никто и не желаетъ спорить. Они точно не желаютъ понять, что настоящее значеніе религіи, какъ мы уже выше упомянули, заключается не въ преподаваніи правилъ обычной, ходячей нравственности—это вырабатываетъ само общество—а именно въ указаніи дальнѣйшихъ лучшихъ путей для развитія этой обычной нравственности.

Посмотримъ, какъ относится незатемненная доводами догматики философія къ вопросу объ автономной, самостоятельной выработкѣ обычной нравственности, и къ вопросу о вліяніи религіи на ея эволюцію.

Сократъ (5 в. д. Р. Х.), основатель философской этики, говорилъ, что добродѣтельными поступками руководятъ не боги, а сами люди. Онъ говорилъ, что разумъ научаетъ человѣка добродѣтели; онъ внушаетъ намъ, что всякая истина есть красота; и наоборотъ, все то, что принадлежитъ къ области красоты, есть истина. Подъ словомъ *истина* этотъ замѣчательный язычникъ но уже съ готовой для воспріятія вышнихъ христіанскихъ идей душой видимо понималъ альтруистическіе поступки человѣка, противъ которыхъ, какъ противъ истины, никто никогда не будетъ возражать. А областью красоты называлъ онъ то, что мы теперь называемъ областью религіи. Стоики (5 в. д. Р. Х.) считали основаніемъ добродѣтели разумъ; они проповѣдывали добродѣтель какъ нѣчто умное и практичное въ жизни. Этика Эпикура (4 в. д. Р. Х.), проповѣдывавшая высшую добродѣтель въ видѣ умѣнія достигать на семь свѣтъ высшее благо, была тоже всецѣло основана на разумѣ. Вообще же можно сказать, что древніе философы, не имѣя понятія объ эволюціонизмѣ въ природѣ, считали все нравственное даромъ небесъ, посланнымъ человѣку высшей разумной силой. Нравственнымъ же въ жизни считали они не столько проявленіе любви къ ближнему или стремленіе осуществить идею добра сколько сознаніе собственнаго достоинства, гордость, благородство при растаніи съ жизнью и проч. Изъ новыхъ философовъ, можно считать основателемъ новой философіи Декарта (17 вѣкъ); онъ считалъ добродѣтелью умѣние мудростью побороть въ себѣ страсти, охватывающія насъ только вслѣдствіе того, что наша слабо дрессированная воля не въ состояніи съ ними справиться. Спиноза (17 в.) высказалъ, что нашъ же собственный интересъ побуждаетъ насъ совершать нравственные поступки, такъ какъ чрезмѣрный эгоизмъ могъ бы, въ дальнѣйшемъ, невыгодно отразиться на самомъ же эгоистѣ, т. е. за его эгоизмъ, ему въ отплату, воздали бы тѣмъ же эгоизмомъ. Hobbes (17 в.) считалъ обычно нравственный кодексъ жизни учрежденіемъ социальнымъ, созданнымъ самимъ же обществомъ ради поддержанія въ немъ законнаго порядка. Такъ, что основой этого учрежденія считалъ онъ эгоизмъ,

стремившейся къ спокойной мирной, обеспеченной общественной жизни. Кантъ (18 в.) пошелъ далѣе и базировалъ нравственность не столько на эгоизмъ сколько на сознаниіи человѣкомъ, какъ существомъ разумнымъ, своего собственнаго достоинства. Идею нравственности онъ выводилъ прямо изъ практическаго разума. Практическимъ же разумомъ, по его мнѣнію, управлялась и воля, которая обязывала человѣка поступать такъ, какъ бы онъ желалъ, чтобы поступали другіе, т. е. чтобы его поступки могли бы служить образцомъ для всѣхъ безъ исключенія. Очевидно, что у Канта нравственность была автономна и независима отъ религіи, которую, совершенно наоборотъ, онъ ставилъ въ зависимость отъ нравственнаго сознаниія человѣка т. е. и по его мнѣнію сначала была идея а уже затѣмъ, появился идеаль. Не имѣя возможность, такъ говорить Кантъ, доказать какъ $2 \times 2 = 4$, что Богъ существуетъ, я вывожу идею Бога изъ своей вѣры въ нравственную достовѣрность, изъ своей увѣренности, что нравственность, руководимая разумомъ, и есть сама истина. Выводъ, къ которому пришелъ Кантъ, безъ сомнѣнія, носить высоко-религіозно-этическій характеръ, исключаящій всякій эгоизмъ, всякое сомнѣніе и приводящій къ чувству смиренія. Фихте (18 в.) высказался въ томъ же духѣ, но только поставилъ нравственные поступки въ зависимость тоже и отъ высоко-развитой совѣсти, этого излюбленнаго дѣтища всѣхъ философовъ, высказывавшихъ, что долгъ и совѣсть могутъ подсказать человѣку нравственные поступки отнюдь не хуже, чѣмъ это подсказываетъ религіозное чувство, а подчасъ, даже и лучше, такъ какъ, въ этомъ случаѣ, голосъ совѣсти имѣетъ дѣло только съ самимъ собой, никѣмъ и ничѣмъ не руководимъ, не рассчитываетъ на воздаяніе и не боится возмездія; эти мелкія, чисто эгоистическія чувства чужды голосу совѣсти, всегда свободному и независимому. Но въ нашемъ очеркѣ, дѣло идетъ не столько о высшихъ формахъ совѣсти, сколько о томъ, возможно ли было вообще развитіе и укрѣпленіе разумно-практически вырабатывавшагося голоса совѣсти безъ религіи, т. е. безъ вліянія той области, въ которой сгруппировано все то, что только способно человѣка ободрить, укрѣпить, вдохновить, волновать, радовать, утѣшать, просвѣтлять, увлечь, смягчить, направить, облагородить и т. д. Въ современной философіи, все болѣе и болѣе назрѣваетъ убѣжденіе въ томъ, что обычная нравственность вырабатывается совершенно самостоятельно самимъ же обществомъ. Но въ то же время въ философіи назрѣваетъ и убѣжденіе, что для своего дальнѣйшаго развитія, обычная нравственность можетъ черпать матеріалъ только въ религіи, какъ въ *марицу*, берегающаю въ себѣ отъ расхищенія и распаденія все то дорогое, что было свыше дано избраникамъ небесъ. Философія видимо сходится съ наукой въ своихъ взглядахъ на автономное происхожденіе обычной нравственности и на зависимость ея эволюціи только отъ религіи, гдѣ всегда имѣются на лицо лучшіе образцы жизни. Читателю можетъ показаться, что мы противорѣчимъ сами себѣ говоря, что обычная нравственность вырабатывается самостоятельно сама по себѣ въ силу житейскихъ соотношеній между собой людей, и въ то же время утверждаемъ, что эволюція обычной нравственности немыслима безъ вліянія на нее религіи. Для того, чтобы убѣдиться, что здѣсь нѣтъ никакого противорѣчія, надо во-первыхъ, выкинуть въ то, какимъ практическимъ способомъ человѣкъ хватается и усваиваетъ мысли, входящія въ него изъ внѣшняго міра; а во вторыхъ, надо разобрать болѣе подробно механизмъ воздѣйствія религіозныхъ идей на эволюцію нравственнаго чувства.

Если прослѣдить психическую жизнь человѣчества, то вездѣ мы встрѣчаемъ одно и то же — люди хватаютъ изъ внѣшняго міра только то, что можетъ обнять ихъ мысль, только то, что можетъ отразить ихъ разумъ другими словами, только то, что можетъ дать развитіе уже сидящему въ человѣкѣ зародышу. Напр. нравственное вліяніе литературы заключается именно въ томъ, что эта область извлекаетъ изъ человѣка все доброе, что въ немъ *уже заложено* но, въ то же время, подавлено грубой, реальной жизнью. Сравнивая реальную жизнь съ открытыми въ произведеніяхъ литературы лучшими ея формами, человѣкъ чувствуетъ, что заложенный въ немъ зародышъ вырастаетъ и его собственныя духовныя силы крѣпнутъ. Не будь въ человѣкѣ подготовленной для того почвы, мысли изъ этой литературной области, какъ бы величественны онѣ ни были, пролетѣли бы мимо него незамѣченными, ибо сочувственной имъ струнки въ немъ не нашлось, или для отзвука она еще не была достаточно сильно натянута. Христіанская идея, наивеличайшая въ мірѣ по своему содержанию, проповѣдуемая въ Китаѣ начиная съ V вѣка, и та ничего не могла подѣлать, въ продолженіе пятнадцати вѣковъ, съ нравственною конскою китайца. Христіанскія основы ему не милы, ибо для того ему пришлось бы въ корнѣ измѣнить свою домашнюю и общественную жизнь; но на это онѣ не такъ — то скоро поддается. Этотъ фактъ весьма вѣсскій для доказательства того, что, несмотря на всю силу христіанской религіи, обычно-нравственный строй жизни китайца остался непоколебимъ только вслѣдствіе неподготовленности, для воспринятія высшихъ идей, почвы. Если залетаетъ извнѣ въ нравственный міръ человѣка какая нибудь идея, показавшаяся ему симпатичной, то онѣ обязательно передѣлаетъ ее не иначе, какъ по своему, и никогда насильно не нарушитъ свое психическое равновѣсіе. Это и есть то, что мы называемъ *автономной*, самостоятельной выработкой обычной нравственности. — Теперь разберемъ болѣе подробно механизмъ воздѣйствія религіозныхъ идей на эволюцію нравственнаго чувства. Не трудно сказать: человѣкъ отрѣшился отъ эгоизма и воспринялъ въ себя христіанскую идею; она вошла въ него въ плоть и кровь. Но гораздо труднѣе понять, *какъ* это совершилось, понять, какая сила сумѣла переименовать естественную натуру человѣка, его волю; какая сила заставила человѣка отрѣшиться отъ эгоизма и находить удовлетвореніе въ альтруизмѣ? Всѣ эти вопросы очень сложны. Постараемъ, по мѣрѣ силъ и возможности, ихъ разъяснить.

Разныя эпохи, разные народы давали религіозному чувству самыя разнообразныя толкованія. Исторія религій есть, собственно говоря, исторія развитія души; какая была душа, такая была и религія, въ которую люди вкладывали выработанные лучшими изъ нихъ идеалы счастья. У каждаго народа были собственныя задушевныя стремленія, желанныя цѣли; каждый народъ по своему вкладывалъ ихъ какъ въ свои произведенія искусства, такъ и въ свою религію. Все то, что трогало его сердце и разумъ, онѣ объективизировалъ въ религіи въ форму недосягаемой безконечности и окрашивалъ объектъ живыми красками. Въ этомъ отношеніи, область религіи нельзя не причислить къ области *эстетики*; и вотъ почему. Человѣкъ въ каждый данный моментъ живетъ и радуется не столько самою жизнью, которая полна невзгодъ, сколько надеждою на нѣчто болѣе лучшее; это ласкаетъ его фантазію, поддерживаетъ его энергію, указываетъ жизни дальнѣйшіе пути. Сравненіе реальной жизни съ ея болѣе лучшими, идеальными, желанными формами, изображенными въ

произведеніи искусства, и есть то, что въ искусствѣ называется *эстетическимъ* чувствомъ. А развѣ не то ли же самое встрѣчаемъ мы и въ религіи, въ которой идеализмъ доходить до своей высшей степени? Какъ въ искусствѣ, эстетика имѣетъ дѣло съ областью чувствъ и разума, точно такъ же и въ религіи, въ вѣру входятъ и чувство и разумъ. Какъ въ искусствѣ, при сравненіи реальной жизни съ изображенными въ его произведеніяхъ лучшими обновленными формами жизни, задѣвается въ насъ волевой аппаратъ т. е. появляется желаніе поступать въ обновленномъ духѣ, точно такъ же и въ религіи, при сопоставленіи конечнаго съ безконечнымъ (земнаго съ небеснымъ), крѣпнеть въ насъ воля, которую мы стараемся направить на пополненіе, на исправленіе своихъ житейскихъ недочетовъ. Такъ, что тотъ, кто настроенъ религіозно, тотъ обязательно настроенъ эстетично. Разница здѣсь не качественная а только количественная. Если въ искусствѣ мы стремимся къ *возвышенному*, то въ религіи мы стремимся уже къ *недосягаемому безконечному*. Обѣ эти области одинаково исходятъ изъ жизни, одинаково освѣщаются и чувствомъ и разумомъ, одинаково способны укрѣпить нашу волю. И только изъ сравненія религіи съ искусствомъ можно получить ясное понятіе о томъ, что такое религія. Кто понимаетъ сущность искусства, тотъ пойметъ и сущность религіи. Наше разсужденіе одинаково подходитъ ко всѣмъ религіямъ безъ исключенія. Такъ, что на вопросъ—что такое религіозное чувство?—придется отвѣтить такъ: оно есть сознаніе контраста, существующаго между конечнымъ мірскимъ и безконечнымъ небеснымъ. Кто въ моментъ приподнятаго духа сознаетъ этотъ контрастъ, того можно считать религіозно настроеннымъ. Скажемъ даже болѣе—всякое сознаніе въ себѣ животнаго есть уже первый шагъ по дорогѣ къ этому настроенію. Поэтому, религія, въ томъ смыслѣ какъ мы ее понимаемъ, прійдя въ соприкосновеніе съ далеко неудовлетворяющею челоука обычною нравственностью, невольно должна вносить въ нее свой разумный идеализмъ, должна смягчать ея формы и тѣмъ придавать ей большее благородство. Но опять таки повторяемъ, что обычная нравственность можетъ воспринять изъ религіи для своего обновленія только такія формы, которыя приходится, въ данный моментъ, по плечу общественному сознанію массы, и которыя будутъ полезны для общественнаго сожитія, ибо иначе, новая форма, преждевременно попавшая на еще неподготовленную почву, доставила бы обществу не удовлетвореніе а только страданіе. Такимъ образомъ, христіанская идея всеобщаго мира, проповѣдуемая впродолженіе девятнадцати вѣковъ, и противъ которой въ принципъ никто не будетъ спорить, въ данный моментъ оказывается неприемлемой народами (мирная конференція въ Гаагѣ), ибо почва для того еще не подготовлена. Народы воспримутъ практически эту религіозную идею лишь тогда, когда они *сами самостоятельно* разберутся въ своихъ дѣлахъ и когда идея всеобщаго мира окажется полезной въ ихъ обычно-нравственной жизни. Трудно сказать, какъ все это совершится въ будущемъ, ибо всякій матаморфозъ нравственнаго сознанія весьма сложенъ и трудно уловимъ. Въ этомъ примѣрѣ очевидно только то, что матеріалъ для эволюціи нравственной идеи почерпается только въ религіи, какъ области лучшихъ формъ жизни; сама же переработка обычно-нравственнаго строя совершается совершенно самостоятельно, автономно. Таковъ взглядъ науки. Теологія же вовсе игнорируетъ эту самостоятельную выработку и усвоеніе высшихъ идей обществомъ; она говоритъ, что всѣ нравственныя идеи

исходить изъ религіи и далѣе того, въ своихъ разсужденіяхъ, она не идетъ. Предоставляемъ читателю рѣшить, чей взглядъ шире.—

Часто приходится слышать такіа рѣчи: у кого есть развитая совѣсть, подсказывающая хорошіе поступки, тому вовсе и не нужна религія. Во первыхъ, такіе атеисты клеветаютъ сами на себя; если совѣсть подсказываетъ имъ альтруистическіе поступки, то по неволѣ они имѣютъ дѣло уже съ областью религіи, ибо религія есть область, въ которой отражаются лучшія формы жизни, лучшія желанія и идеалы человѣка. А во вторыхъ, развѣ совѣсть атеиста есть нѣчто приобрѣтенное исключительно только имъ самимъ? Развѣ она не передана ему уже готовой по наслѣдству отъ предковъ въ свое время выработавшихъ ее не инымъ путемъ какъ только при помощи религіи? А если это такъ, т. е. если нравственный поступокъ атеиста обусловленъ религіозно-нравственнымъ прошедшимъ его предковъ, то нечего ему и говорить, что въ его поступкѣ нѣтъ и слѣда религіознаго воздѣйствія, и что его совѣсть поступала автономно. Близорукость и высокомеріе! Такой атеизмъ, если бы оказался во главѣ духовнаго движенія человѣчества, былъ бы для него весьма печальнымъ. Нравственность, въ высшемъ ея значеніи, была бы рудиментирована, ибо было бы тогда рудиментировано всякое вниманіе къ религіознымъ идеаламъ; атеизмъ сосредоточилъ бы все свое вниманіе только на обычно—легальномъ строѣ жизни и не пошелъ бы далѣе того; закрѣпивъ мысль, стремящуюся къ грубымъ земнымъ интересамъ, онъ тѣмъ задержалъ бы ея естественное стремленіе къ полету ввысь. Но этому никогда не бывать, такъ какъ атеизму не подъ силу бороться съ естественнымъ теченіемъ мысли, впродолженіе многихъ десятковъ тысячелѣтій работавшей надъ религіозной идеей и добывшей себѣ въ религіи могучаго властелина, *деспотично* приказывающаго слабому духомъ человѣку, какъ ему слѣдуетъ поступать. Ницше говоритъ, что вовсе не надо жалѣть а надо только слушаться разума, и тогда поступокъ будетъ нравственный, т. е. человѣку въ пользу. Онъ правъ, что въ дѣлѣ помощи страдающимъ нуженъ разумъ; но вѣдь для альтруистическаго шага, нужно ранѣе того имѣть и сердце, которое привлекло бы къ себѣ разумъ. Но до этого Ницше конечно все равно; онъ проповѣдуетъ только то, что ушло очень недалеко отъ обычно—легальной нравственности. Бываютъ такіе моменты, когда самые отъявленные атеисты, при всемъ изъ высокомерія, не могутъ не почувствовать, что они сами не болѣе, какъ безсильныя козявки. Сухмень. Душа изнываетъ. Народъ наивно—набожно ищетъ себѣ облегченіе въ религіозномъ чувствѣ; онъ смиряется и въ символическихъ приѣмахъ (напр. обходъ полей съ иконами) какъ бы отдаетъ свою судьбу въ руки Божіи. Это мудро и послѣдовательно. Что же дѣлаетъ въ подобныхъ случаяхъ, при всемъ своемъ высокомеріи, атеистъ? Чѣмъ можетъ онъ успокоить свой потревоженный духъ? Ему остается одно утѣшеніе—убѣждать себя своимъ же разумомъ, что онъ самъ, вмѣстѣ со своимъ разумомъ, безсиленъ помочь горю. Куда дѣвалось его высокомеріе?

Этапы историческаго развитія идеи нравственности картинно рисуются намъ въ видѣ этаповъ нравственнаго развитія, переживаемаго каждымъ человѣкомъ въ отдѣльности въ различныя эпохи его жизни. Малый ребенокъ не способенъ разумно разсуждать; оттого у него и нѣтъ совѣсти. Но способность разумно обсуждать то, что нравственно (полезно) или безнравственно (вредно), способность, выработанная человѣкомъ впродол-

женіе многихъ десятковъ, а можетъ быть и сотенъ тысячелѣтій, заложена въ ребенкѣ уже при его рожденіи; и она только ждетъ своего времени, чтобы себя проявить. Затѣмъ, появляются, уже въ старшемъ возрастѣ, сперва лишь зачатки нравственнаго чувства въ видѣ закономірности поступковъ, обусловленныхъ еще не разумомъ совершающаго поступокъ, а только желаніемъ или требованіемъ его родителей или наставниковъ. Этотъ фазисъ жизни ребенка соответствуетъ тому фазису жизни общества, когда поступками руководитъ примитивный, практически выработанный обществомъ, только на идеѣ пользы и вреда, нравственный кодексъ жизни. Въ позднѣйшемъ фазисѣ нравственной жизни уже взрослого человѣка, онъ выполняетъ нравственныя требованія уже по религиозно-нравственному убѣжденію, въ силу любви къ добру, а не только изъ страха общественнаго за невыполненіе этихъ требованій взысканія. И это выполненіе нравственныхъ требованій совершается имъ уже какъ бы независимо отъ идей пользы и вреда, идей отнюдь не пропавшихъ, но только потерявшихъ свое преобладающее значеніе въ обновленномъ религиозномъ сознаніи человѣка, идей, вошедшихъ, такъ сказать, въ скрытый симбіозъ (созитіе) съ ихъ коррелятивными (сосуществующими) идеями добра и зла.

И такъ, въ области нравственности совершался, непрерывно продолжается и теперь, такой круговоротъ: неудовлетворительность практически выработаннаго обществомъ обычно-нравственнаго строя жизни приводитъ развитое сознаніе, тѣмъ либо инымъ путемъ (или чисто практически или же въ силу авторитета отдѣльных, свыше одаренныхъ творчествомъ личностей), къ возникновенію высшихъ идей. Трудно прослѣдить какимъ путемъ эти высшія идеи попали въ религію, все равно, какъ трудно прослѣдить, какъ складывался въ человѣкѣ, за всю его жизнь, тотъ а не иной складъ мыслей. Неоспоримо только то, что въ религію всегда входитъ экстрактъ лучшихъ наиболѣе желанныхъ мыслей, выработанныхъ человѣкомъ. Оттого мы всегда такъ тѣсно съ нею связаны. Не можетъ же эта связь быть случайной? Неудовлетворительность же нравственнаго строя общества служитъ этимъ высшимъ идеямъ исходной точкой. Затѣмъ, эти высшія идеи, въ оболочкѣ которыхъ обязательно должна быть вложена, дабы онѣ были восприняты обществомъ, идея общественной пользы, эти высшія идеи, тѣмъ или инымъ путемъ, требуютъ для себя мѣсто въ обычно-нравственномъ кодексѣ жизни, требуютъ его или обыкновеннымъ религиознымъ путемъ, или же путемъ выполненія разумныхъ требованій совѣсти. Общество охотно ихъ воспринимаетъ, ибо онѣ кромѣ пользы, ничего другого обществу не доставляютъ. Круговоротъ завершился; откуда идеи были взяты лучшими людьми изъ среды общества, туда же обратно онѣ и попали. Войдя въ обычно-нравственную жизнь общества, онѣ смѣшиваются съ функционирующими обычно-нравственными идеями и тѣмъ только расширяютъ, совершенствуютъ утилитарный характеръ обычно-этического строя. Такимъ образомъ, мало по малу переключиваются высшія религиозныя идеи въ обычный строй жизни, и тѣмъ его облагораживаютъ. Теологія говоритъ, что эти высшія идеи даетъ обществу религія. Оно такъ и въ то же время не совсемъ такъ, ибо зародыши этихъ высшихъ идей, какъ выше было уже упомянуто, ужъ давно сидѣли въ людяхъ (конечно не во всѣхъ), и только ждали случая проявить себя болѣе полно, болѣе ясно. Настоящая же роль религіи состояла только въ томъ, чтобы разбудить эти дремлю-

ція идеи, дати їм розвитіе и тѣмъ толкнуть челоуѣка на путь обновленія. Развитіе нравственнаго чувства было обусловлено *собственнымъ и самостоятельнымъ желаніемъ* самого же общества обновити себя; религія же служила только *источникомъ обновленія*, откуда общество черпало для своего обновленія только то, что въ данный моментъ было ему полезно. Если бы религія была всеильна, то конечно всѣ мы были бы уже давно истинными христіанами; но этого-то и нѣтъ на самомъ дѣлѣ. Нашъ обычно-нравственный строй жизни такъ упоренъ; наша душа и воля еще такъ мало развиты, мы всѣ еще такъ живоотнообразны, еще такъ мало нравственно подготовлены, что свѣту Христова ученія, несмотря на его ослѣпительность, удается проникать въ нашу обыденную, тусклую жизнь лишь отдѣльными лучами.

Общій выводъ изъ нашего очерка будетъ такой. Въ борьбѣ за существованіе идей между собой, идеи разумныя всегда брали въ жизни верхъ. По мѣрѣ ихъ восторжествованія въ нашемъ мысленіи, дѣлалось все болѣе и болѣе содержательнымъ и наше единеніе съ высшей силой. Сначала оно было въ видѣ неопредѣленно-туслаго сознанія отношенія конечнаго къ безконечному: затѣмъ, стало совершенствоваться, и наконецъ, приняло живую, конкретную яркую, разумную религіозную форму, которая, какъ бы въ благодарность разуму, приложила всѣ свои старанія въ дѣлѣ переработки легальнаго обычно-нравственнаго строя общества (*Sittlichkeit*) уже въ высшую нравственность (*Moralität*). А потому, критеріумъ нравственнаго уровня челоуѣка будетъ всегда зависѣть отъ того, насколько челоуѣкъ сумѣлъ приобщити *идейность* къ *легальности* своихъ поступковъ. Намъ кажется, что съ этимъ не можетъ не согласиться и церковь. Неоспоримо, что тѣсное единеніе съ такой яркой конкретной религіозной формой какъ христіанство можетъ ощущать только твореніе одаренное разумомъ. Только разумъ и могъ привести сознаніе къ представленію о единомъ Духѣ—первоначалѣ всего существующаго; только разумъ и могъ привести сознаніе къ обьективизаціи, въ видѣ безконечности, конечныхъ житейскихъ отношеній людей между собой, къ обьективизаціи, о которой Каитъ высказался такъ: существенное содержаніе религіи есть нравственность. Этотъ взглядъ на религію, какъ на воплощеніе лучшихъ чаяній и стремленій развитой души, нисколько не задѣваетъ достоинство религіи; напротивъ того, этотъ взглядъ парализуетъ всякое на нее посягательство со стороны недомыслія и скудоумія. Вѣдь никто не сомнѣвается въ томъ, что духовное развитіе заключается въ желаніи совершенствовати нравственность; а если религія воплощаетъ ее въ себѣ въ совершенствѣ, то надо религію беречь и высоко держать ея знамя.

Религія, какъ область обьективизаціи высшихъ этическихъ разумныхъ проблемъ, послужила, продолжаетъ служить и теперь большую службу въ дѣлѣ нравственнаго воспитанія и духовнаго объединенія людей, разнообразныхъ по ихъ природѣ но схожихъ по ихъ отношенію къ центральной идеѣ религіи — къ идеѣ Бога, олицетворяющаго живую любовь. А когда людей объединяетъ какая нибудь идея, то тамъ обязательно является и духовная объединяющая ихъ сила. Въ этомъ — то и заключается практическое значеніе этой центральной идеи. Крімъ того, благодаря своему громадному авторитету, *деспотичный* голосъ религіи, раздающійся какъ бы свыше и воспринятый логично, послѣдовательно народнымъ мысленіемъ, всегда звучитъ энергичнѣе чѣмъ внутренній

Голосъ слабаго духомъ человѣка, можетъ быть и разумнаго и чувствующаго стремленіе къ обновленію но не могущаго справиться со своими животными инстинктами, заглушающими этотъ внутренній голосъ. Классическая старина, а затѣмъ и христіанство, благодаря такъ сказать осязаемымъ въ ихъ религіяхъ образцамъ, наиболѣе помогли эволюціи нравственной идеи. О ветхозавѣтномъ еврействѣ этого нельзя сказать; оно съиграло замѣтную роль только въ выработкѣ монотеизма, къ которому и было все у нихъ приноровлено. Что же касается до выработки любви, терпимости, гуманизма, то участіе въ этомъ еврейства весьма не значительно. Во всемъ ветхомъ завѣтѣ, за исключеніемъ пророчествъ и нѣкоторыхъ изъ Моисеевыхъ велѣній, встрѣчается только легальная нравственность (Sittlichkeit) и узкій націонализмъ, оказавшіе Новому Завѣту хотя и отрицательную, но все таки-же пользу — они послужили исходной точкой для новозавѣтной мысли въ ея полетахъ въ высшія сферы (Moralität).

Этимъ мы окончимъ наше разсужденіе о самостоятельной, автономной выработкѣ самимъ же обществомъ, безъ всякаго посторонняго навязыванія извнѣ, своихъ обычно-нравственныхъ принциповъ; причѣмъ общество, нуждаясь по мѣрѣ своего роста въ ихъ обновленіи, черпаетъ для того матеріалъ исключительно только изъ области религіи и усваиваетъ изъ нее только то, что во всякій данный моментъ оказывается полезнымъ для общественности.

II.

Нравственность,

какъ

неминуемый продуктъ общественныхъ инстинктовъ.

Живо припоминается намъ то недалекое время (шестидесятые года прошлаго столѣтія), когда въ богословскихъ сферахъ подняли тревогу и заговорили о томъ, что Дарвинъ со своей теоріей борьбы за существованіе, выдвигающей впередъ силу, ловкость, смѣлость и проч., посягаетъ на цѣлость нравственнаго строя, даже религіи. Заговорили и о томъ, что рядомъ съ его теоріей, ставящей на первый планъ эгоистическое чувство самосохраненія, немислимы никакіе политическіе и соціальные порядки. Всѣ эти нападки были лишены здраваго смысла; въ нихъ проглядывало полное непониманіе лежащей въ основаніи этой теоріи философской идеи. Борьбу за существованіе Дарвинъ понималъ не въ томъ смыслѣ, что люди вооружаются ножами и пойдутъ другъ на друга въ полномъ забвеніи нравственныхъ основъ жизни, а въ томъ смыслѣ, что всякій человѣкъ, естественно стремясь возможно болѣе облегчить себѣ жизнь, напрягаетъ для того всѣ свои способности и тѣмъ невольно, безъ всякой злобы, сильные подчиняютъ себѣ болѣе слабыхъ и самымъ естественнымъ порядкомъ (въ силу естественнаго подбора) выдвигаетъ себя впередъ. Борьба вездѣ и всегда была, есть и будетъ; безъ нея нѣтъ движенія, нѣтъ жизни. Въ литературѣ, въ искусствѣ, въ наукѣ, въ индустріи и

проч., вездѣ хотя и незамѣтно но обязательно, совершается борьба за существованіе, т. е. борьба за преобладаніе идей, знаній, фантазій и т. д. борьба, самымъ естественнымъ путемъ выдвигающая впередъ все то, что наиболѣе цѣлесообразно, полезно, симпатично обществу; однимъ словомъ, вездѣ совершается то, что говорятъ французы: *du choc des opinions jaillit la vérité*. Если эта борьба нисколько не вредитъ ни литературѣ, ни искусству, а напротивъ того, только двигаетъ эти области по пути ихъ усовершенствованія, то почему же не допустить, что и нравственность вырабатывалась самимъ же обществомъ и точно въ такой же борьбѣ нравственныхъ идей за свое существованіе? Почему не допустить, что въ каждый данный моментъ обычно нравственный строй жизни есть не что иное, какъ выработанное въ борьбѣ между собой нравственныхъ идей руководство къ болѣе цѣлесообразному, болѣе полезному, болѣе удобному сожитію людей? Если бы не было борьбы этихъ идей, то жизнь представляла бы затхлое, стоячее болото, ибо не чувствовалось бы въ ней движеніе этической мысли. А потому эволюціонное начало вовсе не нарушаетъ (чего боялись богословы) цѣльность нравственного строя общества, а наоборотъ, цѣльность, въ силу борьбы идей между собой, можетъ только выиграть въ силѣ и правдѣ. Очевидно, что эволюціонная теорія Дарвина прекрасно уживается съ религіей, какъ областью высшихъ нравственныхъ идей. Многие полагаютъ, что теорія Дарвина живо похоронила религію. Это большое недоразумѣніе. Можно одновременно напрягать всѣ свои естественныя способности (иначе говоря, участвовать въ борьбѣ за существованіе), и въ тоже время стремиться къ обузданію въ себѣ животнаго (иначе говоря, проявлять нравственно-религіозное чувство, понимая это чувство, какъ сознательную борьбу человѣка съ сидящимъ въ немъ животнымъ); одно другому нисколько не противорѣчитъ и одно съ другимъ прекрасно уживается. Его теорія прекрасно мирится тоже и съ религіознымъ понятіемъ о космическомъ Богѣ; она не исключаетъ изъ себя понятіе о Немъ, а наоборотъ включаетъ его въ себя, какъ понятіе о Создателѣ и руководителѣ вселенной, эволюционирующей не въ силу произвола (какъ ею руководилъ древнееврейскій Іегова), а въ силу законмѣрности, самимъ же Создателемъ установленной. И только исходя изъ идеи законмѣрности эволюціи, удалось философской мысли, вложенной въ теорію Дарвина, забѣжать впередъ и увидѣть, что въ жизни все предопредѣлено свыше и все эволюционируетъ по намѣченному плану. Только исходя изъ идеи законмѣрности, и удалось этой философской мысли дойти до величайшей, охватывающей весь міръ идеи, которая въ нашемъ индивидуальномъ міровоззрѣніи приобретаетъ непоколебимый научный *raison d'être*—идея о Богѣ. Теорія Дарвина, сдѣлавшая лишь попытку изслѣдовать эту законмѣрность, только подвинула нашъ разумъ, но нисколько не поколебала сердце. Дарвинъ, указывая на живущее въ человѣкѣ животное, не однажды одновременно указывалъ и на способъ побороть его въ насъ; онъ указывалъ на религію, вмѣщающую въ себѣ лучшія формы общественнаго сожительства, какъ на область, идеи которой, въ борьбѣ за существованіе съ обычными житейскими идеями, способны переработать обычную нравственность въ нравственность уже высокаго достоинства. Въ этомъ отношеніи теорія Дарвина, заставившая человѣка обратить вниманіе на сидящее въ немъ животное, принесла только пользу религіозному сознанію—чѣмъ ярче обрисовывалось это животное, тѣмъ ярче свѣтилъ и религіозный идеаль;

вѣдь понятіе о божественной чистотѣ души немислимо безъ одновременнаго представленія души загрязненной, животнобразной. Его теорія облегчила человѣку борьбу съ этимъ животнымъ, борьбу, о которой Христосъ упоминаетъ въ Своей проповѣди на каждомъ шагу. Отвѣда человѣку должное мѣсто въ общемъ мірозданіи, эта теорія тѣмъ поколебала въ человѣкѣ самомнѣніе, указавъ ему въ то же время, что свое первенство слѣдуетъ ему видѣть не въ своемъ привелигированномъ положеніи, какъ владыки міра, а въ способности владѣть своими мыслями и поступками, что безспорно тѣсно связано съ областью религіи. Обвиненіе этой теоріи въ ея анти-религіозномъ характерѣ (мнѣніе многихъ богослововъ 60-хъ годовъ) доказываетъ только то, что ея обвинители не отдавали себѣ строгаго отчета въ томъ, что такое религія и что такое религіозное чувство. Они до того испугались дарвиновскаго человѣка-звѣря, представившагося имъ, что весьма понятно, далеко не въ привлекательномъ этическомъ освѣщеніи, что они даже упустили изъ виду то обстоятельство, что дарвиновскій человѣкъ обязательно долженъ быть такимъ, дабы религія могла проявить свое облагораживающее на него воздѣйствіе; не то, ей нечего было бы дѣлать.

Такимъ образомъ, эволюціонная теорія широко захватываетъ собой сразу два міра: она признаетъ эволюцію въ физическомъ мірѣ (область науки) и эволюцію въ духовномъ мірѣ (область религіи). Взглядъ же теологіи значительно болѣе сжатъ; она вовсе умалчиваетъ объ эволюціи религіозныхъ идей, иначе говоря, она точно отрицаетъ эволюцію нравственнаго сознанія человѣка. Весьма жалкое недоразумѣніе людей, которые, если бы они были истинно религіозны, должны бы были признавать Дарвину за упрощеніе въ разъясненіи путей, предначертанныхъ Богомъ въ своемъ твореніи.

Теорія эволюціонизма является намъ лучшей помощницей при разборѣ столь сложнаго и трудно разрѣшимаго вопроса о *долгѣ и совѣсти*, которые присущи исключительно только человѣку, какъ разумному существу, и передъ которыми умолкаютъ всѣ страсти человѣка, дѣлающагося способнымъ даже на самопожертвованіе. Вопросъ о совѣсти разработанъ теологіей весьма односторонне; ея объясненіе не можетъ удовлетворить психолога, желающаго знать, какимъ путемъ зародился и развился въ сознаніи человѣка этотъ поразительный феноменъ, идущій въ разрѣзъ съ основнымъ природнымъ инстинктомъ самосохраненія. Вѣдь не могла же идея долга, идея совѣсти свалиться прямо съ небесъ на неподготовленную почву и пустить въ ней корни; это было бы невозможнымъ скачкомъ въ природѣ. А если почва уже была для того подготовлена, то естественно возникаетъ вопросъ—какъ подготовилась эта почва и какія причины побудили человѣка измѣнить въ корнѣ свою основную животную натуру, сдѣлавшуюся теперь уже способной къ воспринятію высшихъ идей? Что сдѣлало ее способной понять высшую проблему нравственности, опредѣляющуюся отношеніемъ природныхъ инстинктовъ къ долгу, иначе говоря, что сдѣлало ее способной переработать свои врожденные нравы, держащіяся за инстинкты, въ нравы, держащіяся уже за идею долга? Къ разъясненію этого очень сложнаго вопроса Дарвинъ сдѣлалъ лишь попытку подойти со стороны естественно-исторической. Онъ исходилъ изъ той мысли, что мы, дабы понять человѣка, непременно должны сперва изучить міръ животныхъ, и только тогда можетъ сдѣлаться очевиднымъ, насколько человѣкъ счумѣлъ частью облагородить,

но большею частью только замаскировать свои природные животные инстинкты.

Всякое животное, одаренное ясно выраженными общественными инстинктами, должно роковымъ образомъ чувствовать въ сообществѣ съ товарищами удовольствіе—чувство, переходящее по наслѣдству къ потомству и обратившееся въ привычку, въ инстинктъ. Такое животное, инстинктивно ощущая пользу отъ общественнаго сожитія, должно въ одиночку скучать, а потому, должно симпатизировать своимъ товарищамъ. Самая обыкновенная услуга, оказываемая животными другъ другу—предупрежденіе о грозящей опасности, причемъ каждый помогаетъ все́мъ а все́ каждому; а это приводитъ къ тому, что животное чувствуетъ себя въ сообществѣ съ другими болѣе обезпеченнымъ. Способы предупрежденія опасности весьма разнообразны: кролики топаютъ ногами, птицы издають особый крикъ и проч. Все́ эти приемы бдительности даютъ животному лишній шансъ сохранить какъ себя, такъ и свое потомство; а потому, животныя стихійно стремились къ общественности и помогали развиваться естественнымъ подборомъ какъ самой общественности такъ и бдительности; иначе говоря, экземпляры, одаренные большею бдительностью, весьма естественно, имѣли лишній шансъ сохранить свою жизнь чѣмъ-тѣ, которые зѣвали; а бдительность отдѣльныхъ особей не могла не содѣйствовать и развитію общей бдительности всего сообщества. Затѣмъ, мы знаемъ, что члены сообщества помогаютъ другъ другу въ работѣ (муравьи); охотятся сообща (пеликаны, ловящіе рыбу); защищаютъ другъ друга, какъ напр. обезьяны или лошади, сбившіяся въ кучу, головами внутрь, при нападеніи волковъ; или же овцы, прижимающіяся другъ къ другу отъ назойливыхъ мухъ. Въ общемъ же можно сказать, что все́ общественныя животныя инстинктивно чувствуютъ, что общественная жизнь значительно помогаетъ имъ удовлетворять свои природныя инстинкты, которыми они конечно не перестаютъ жить и въ сообществахъ. Такъ напр. лошадь въ одиночку привычно отмахивается хвостомъ отъ мухъ; но въ сбившемся въ кучку табунѣ, ей это удается лучше ибо ей оказываютъ въ этомъ помощь и другія лошади. Въ сообществахъ члены оказываютъ другъ другу тоже не мало и всякихъ мелкихъ услугъ: лижутъ зудящія мѣста (лошадь подставляетъ другой свою гриву), ищутъ паразитовъ (собаки), вытаскиваютъ иглы (обезьяны), и т. д. Но болѣе всего, надо полагать, способствовалъ развитію общественности одинъ изъ самыхъ сильныхъ инстинктовъ—*родительскій инстинктъ*. Разказы о томъ, какъ обезьяны общими силами спасаютъ отъ нападенія враговъ своихъ дѣтей, весьма многочисленны; а у тюленей, живущихъ стадами, должность часовыхъ обыкновенно исполняютъ самки. Такъ, что спокойствіе, ощущаемое животными при общественномъ сожитіи, есть, въ своемъ основаніи, чувство удовлетворенія родительскаго инстинкта но только болѣе расширеннаго въ силу того, что въ сообществахъ животныя находятъ возможность одновременно удовлетворять и другіе, менѣе сильныя чѣмъ родительскій, инстинкты. Многіе весьма ошибочно полагаютъ, что животныя сначала завели общежитія, а уже потомъ, почувствовали отъ того выгоду и удовольствіе. На самомъ дѣлѣ происходило совсѣмъ обратное—только тѣ животныя, которыя почувствовали выгоду отъ общенія съ себѣ подобными, могли выработать общежитія. Точно такъ же ошибаются тѣ, кто думаетъ, что птицы залетали ибо у нихъ были крылья; или человекъ заговорилъ ибо у него были развиты голосовыя струны. На дѣлѣ

совершалось совсѣмъ обратное; птица сперва захотѣла порхать по воздуху, а затѣмъ, развились у нея крылья; человѣкъ сперва захотѣлъ издавать для извѣстныхъ цѣлей звуки а уже затѣмъ, развились у него головные струны.

Человѣкъ точно такъ же какъ и всякое общественное животное избѣгаете уединенія; страхъ одиночества его преслѣдуетъ; а одиночное заключеніе служитъ для него однимъ изъ самыхъ тяжкихъ наказаній. Дикари, живущіе отдѣльными семьями, весьма рѣдки; обыкновенно, они устраиваются поселками, дружно оберегаютъ свои семьи и дружно помогаютъ другъ другу способами, которые, конечно, не идутъ наперекоръ собственной пользѣ каждаго члена въ отдѣльности. Такъ, что у первобытнаго человѣка, личная польза такъ же какъ и у животныхъ всегда и вездѣ на первомъ планѣ. Такимъ образомъ, вырабатывается практически-утилитарный строй общества, одинаково полезный, какъ для каждаго въ отдѣльности, такъ и для всего общества.

Конечно, человѣку помогать не мало и разумъ отличать полезное отъ вреднаго; онъ помогать предвидѣть грядущее, опасное для сообщества, помогать въ дѣлѣ раздѣленія труда, и т. д. Полезный для общества поступокъ сталъ считаться уже хорошимъ въ томъ смыслѣ, какъ говорятъ: хорошая птица (пользительная), хорошій инструментъ (полезный). Такіе хорошіе (т. е. полезные) поступки удовлетворяли общество; они входили въ обычный строй жизни, и общество руководилось этимъ кодексомъ. Напр. всѣ сознавали, что кража приноситъ владѣльцу краденаго убытокъ; а потому, общество стало считать кражу нехорошимъ поступкомъ, и, въ видѣ устрашенія ради будущаго, наказывало за кражу. Утилитаризмъ первобытной нравственности очевиденъ; высшимъ нравственнымъ идеямъ тутъ не было мѣста; тутъ преслѣдовались только чисто эгоистическіе, шкурные интересы каждаго члена въ отдѣльности, одновременно и всего общества. Весь этотъ примитивный нравственный строй развивался путемъ естественнаго подбора, въ борьбѣ за существованіе идей болѣе полезныхъ обществу съ идеями менѣе полезными, причемъ, весьма понятно, побѣда оставалась за первыми. Все это закрѣплялось привычкой и все это руководилось ничѣмъ инымъ, какъ только грубыми общественными инстинктами, выработавшими чисто практическимъ путемъ возможность наилучшаго, въ каждый данный моментъ, себѣ проявленія.

Таковъ былъ генезисъ первобытной утилитарной нравственности, руководившейся только эгоизмомъ и практическимъ расчетомъ. Чувство альтруизма было чуждо членамъ такого первобытнаго сообщества; въ своихъ поступкахъ они руководились не чувствомъ любви къ людямъ, всегда чуждымъ всякихъ побочныхъ грубо-эгоистическихъ интересовъ, и не состраданіемъ къ людямъ, которому обязательно должна предшествовать развитая душа, *сознающая* свое собственное страданіе; члены защищали и оказывали другъ другу помощь постольку, поскольку это не шло наперекоръ ихъ собственной пользѣ и насущнымъ интересамъ. Великій психологъ апостолъ Павелъ выразился о подобнаго рода поступкахъ такъ: „если я говорю языками человѣческими и ангельскими, а любви не имѣю, то я—мѣдъ звенящая или кимваль звучащій“ (Кор. I, 13, 1).

Но какъ объяснить психику такого человѣка, у котораго нравственное чувство заставляетъ его уже стыдиться и сожалѣть, что онъ, поддавшись своимъ примитивнымъ животнымъ инстинктамъ, не рискнулъ своею жизнью чтобы спасти погибающаго на его глазахъ человѣка? Подоб-

ное сожалѣніе, подобный стыдъ можно считать центральнымъ пунктомъ, около котораго вертится весь вопросъ высоко нравственнаго чувства. Если мы скажемъ, что религиозные идеалы имѣли рѣшающее вліяніе на переработку въ корнѣ эгоистической, примитивной природы человѣка, то этимъ мы разрѣшимъ только половину вопроса; другую же половину, т. е. какъ подготовилась въ человѣкѣ почва для воспріятія этихъ высшихъ религиозныхъ идей, придется еще разрѣшить. Очевидно, что безъ заблаговременно подготовленной почвы, религиозныя идеи не нашли бы въ ней отклика, и ихъ голосъ былъ бы гласомъ вопіющаго въ пустынѣ. Въдѣ мы знаемъ, что къ произведеніямъ искусства, люди относятся индифферентно, если только въ нихъ самихъ уже не были предварительно заложены сѣмена идей, развитыхъ въ этихъ произведеніяхъ, если эти идеи ранѣе того уже не бродили въ нихъ въ видѣ неясныхъ представленій, чайній; однимъ словомъ, если ранѣе того уже не мерещился имъ путь дальнѣйшаго обновленія духа. Нѣтъ сомнѣнія, что самодуръ Титъ Титычъ Островскаго, при видѣ Тиціановой „кающаяся Магдалина“, былъ бы способенъ сдѣлать только такой вопросъ: „а сколько стоитъ золоченая рама этой картины?“ Вопросъ, значитъ, сводится къ тому, какія пружины нажимали на волю человѣка въ дѣлѣ метаморфоза обычной, *легальной* нравственности въ нравственность уже *высоко-развитую*?

Чувство альтруизма весьма сложное; въ него входятъ: общественныя инстинкты, сочувствіе, симпатія, состраданіе, храбрость въ защитѣ, энергія въ оказаніи помощи, рѣшительность, жертва, одобреніе общества, покорность обстоятельствамъ, наконецъ, совѣсть, чувство долга. Всѣ эти условія наличности альтруизма, ярко обрисовывающіяся въ человѣческомъ обществѣ, безъ сомнѣнія, встрѣчаются, какъ мы упомянули, тоже и въ животномъ мірѣ, но только въ зачаточномъ состояніи. Оставаясь вѣрнымъ дарвиновскому приему при рѣшеніи сложныхъ вопросовъ, мы сперва разберемъ эти зачатки въ психикѣ животныхъ а уже затѣмъ, прослѣдимъ ихъ, но уже разившимися, въ психикѣ человѣка. Хотя идея жертвы, проявляющаяся въ животномъ царствѣ въ видѣ нѣкоторой сдержанности, уступчивости животного къ своимъ дѣтямъ или сочленамъ, и неизмѣримо далека отъ идеи самопожертвованія человѣка, но эти обѣ идеи одинаково живутъ въ крови и плоти, обѣ одинаково вытекаютъ изъ *общественности*, обѣ одинаково наслѣдственно выработались путемъ естественнаго подбора, какъ идеи полезныя для укрѣпленія сообщества. Такъ, что несмотря на разницу въ проявленіи этихъ идей, мы не можемъ, смотря на вопросъ объективно, не признать, что обѣ психики человѣка и животного *однохарактерны*. Въ дѣлѣ выясненія въ животномъ царствѣ альтруизма, сдѣлано наукой сравнительно еще очень мало; большая часть рассказовъ объ альтруизмѣ животныхъ отзывается сентиментальностью; авторы, подчасъ даже тонкіе наблюдатели, думая вызвать въ читателѣ участіе къ животнымъ, вкладываютъ въ психику животныхъ человѣческія черты. Ихъ рассказы интересны, даже цѣнны для науки, но они не имѣютъ никакого интереса для того, кто изучаетъ психику человѣка.

Было бы гораздо цѣлесообразнѣе пойти обратнымъ путемъ т. е. не искать въ животномъ человѣческое, не слишкомъ очеловѣчивать животное а наоборотъ, изучать въ человѣкѣ животное, скрытое въ немъ въ силу весьма сложной его общественной жизни. И только тогда, когда мы сравнимъ эти оба міра, только тогда увидимъ мы съ поразительною ясностью, до чего сильно пропитана вся наша жизнь природными, наслѣдственными

склонностями, влеченіями, или иначе говоря, инстинктами, на первый взглядъ въ насъ менѣе очевидными, чѣмъ въ мірѣ животныхъ.

Есть ли альтруизмъ неминувемой *продуктъ общественности* и въ какой формѣ проявляется онъ среди животныхъ?

Всякая общественность обязательно должна приводить, въ силу доставляемой ею членамъ сообщества пользы, къ симпатіи, которую члены весьма ясно высказываютъ другъ другу, и которая есть не что иное, какъ пріятное воспоминаніе о доставляемомъ другъ другу удовольствіи. Обоюдныя отношенія смягчаютъ; члены дѣлаются уступчивѣе, менѣе раздражительными отъ непріятнаго поступка сочлена, чѣмъ отъ такого же поступка совершеннаго постороннимъ субъектомъ. Уступчивость съ одной стороны вызываетъ уступчивость и съ другой. Такимъ образомъ, устанавливаются между членами сообщества мягкія отношенія; зарождается привычка сдерживать себя въ своихъ природныхъ грубыхъ порывахъ, привычка, если можно такъ выразиться, обуздывать свою естественную волю. Намъ кажется, что подобное самообуздываніе не могло бы имѣть мѣсто, если бы въ животномъ ранѣе того не былъ заложенъ наисильнѣйшій изъ инстинктовъ—*родительскій* инстинктъ, въ силу котораго родители привыкли выказывать относительно своихъ дѣтей поразительное терпѣніе и способность сдерживать противъ обыкновенія свои порывы, что на самомъ дѣлѣ есть не что иное, какъ тоже обуздываніе своей естественной воли. Этотъ родительскій инстинктъ безконечнаго терпѣнія, заложенный глубоко въ натурѣ животного но только благодаря общественности болѣе расширенный, этотъ инстинктъ проявляется въ обществахъ въ видѣ нѣкотораго *самообладанія* однихъ членовъ относительно другихъ. Это самообладаніе способно выработать въ общественномъ животномъ *ради его—же собственной пользы* и терпѣніе, и уступчивость, и сдержанность, и проч. Все мы не однажды видѣли, какъ птицы отдаютъ свою пищу птенцамъ; все мы знаемъ, сколь много терпѣнія въ самкѣ которую немилосердно тормозитъ ея дѣтеныши. Все это не что иное, какъ проявленіе чисто родительскаго инстинкта; но въ то же время, все это дрессируетъ волю животного, которое, попавъ въ сообщество себѣ подобнаго, является уже не новичкомъ въ дѣлѣ самообуздыванія а уже прошедшимъ (если не оно само то его предки) серьезную школу выработки родительскаго терпѣнія и уступчивости. Все эти проявленія въ сообществѣ терпѣнія и уступчивости повидимому альтруистическаго характера, но въ то же время они не теряютъ свою эгоистическую подкладку. Сознательный элементъ здѣсь отсутствуетъ; если животное и обуздываетъ свою волю въ пользу другаго, совершаетъ, такъ сказать, жертву, то оно дѣлаетъ это не въ силу убѣжденія доставить другому извѣстную пользу а только въ силу, какъ мы уже сказали, общественнаго, имѣющаго въ виду только свою *личную* пользу, инстинкта, а затѣмъ, и въ силу расширеннаго своего родительскаго инстинкта.

Вникая въ такъ называемый *себялюбивый альтруизмъ*, встрѣчаемый въ мірѣ животныхъ, кажется страннымъ слышать, что человѣкъ, будто бы, тѣмъ и отличается отъ животного, что онъ въ состояніи пожертвовать ради другаго, хотя это было бы ему и въ тягость, своими насущными интересами. Эта идея жертвы, т. е. тяжкаго лишенія никакъ не укладывается въ головѣ того, кто убѣжденъ, что человѣку, съумѣвшему переработать, въ силу религіозныхъ или иныхъ убѣжденій, свою натуру такъ, что именно лишеніе и составляетъ для него самое пріятное, что

такому человѣку—альтруисту жертва была бы въ тягость. Напротивъ того, такой человѣкъ и поступаетъ именно такъ, потому что переработанная силою воли его натура *требуетъ* себѣ лишений, это ей пріятно. Оказывается, что высокій альтруизмъ человѣка точно такъ же эгоистиченъ, какъ и себялюбивый альтруизмъ животнаго. Значить, различіе духовныхъ міровъ человѣка и животнаго заключается вовсе не въ этомъ, а въ томъ, что человѣкъ въ отличіе отъ животнаго сьумѣлъ, благодаря религіи или чему нибудь иному, переработать свою нравственную природу такъ, что наслажденіе черпаетъ онъ не въ жизни утробы (какъ животныя), а въ жизни духа, т. е. въ *убѣжденіи*, что лишая себя, онъ тѣмъ доставляетъ другому помощь. Другими словами, различіе духовныхъ міровъ человѣка и животнаго заключается въ томъ, что у животнаго центръ тяжести природнаго эгоизма лежитъ въ мірѣ *физическомъ*, человѣкъ же перенесъ этотъ центръ тяжести природнаго своего эгоизма въ мірѣ *духовный*. Такъ, что оба альтруизма, и себялюбивый и высокій, какъ мы выше уже упомянули, *одинаково эгоистичны*. Значить, вопросъ сводится къ тому: какіе импульсы толкали человѣка на путь переработки въ корнѣ его природной животной природы въ такую, которая стала находить себѣ удовлетвореніе въ лишеніяхъ? Что заставило человѣка находить удовлетвореніе въ отданіи другому своей послѣдней рубашки? Разрѣшивъ эти вопросы, мы тѣмъ разрѣшимъ великую мировую проблему—какимъ путемъ первобытная жертва въ видѣ незначительной подачи божеству, могла развиться въ широкую идею самопожертвованія? Теологія утверждаетъ что высоко-альтруистическіе импульсы подсказаны человѣку религіей. Въ этомъ мы нисколько не сомнѣваемся, такъ какъ религія по своему существу, есть область высшихъ помысловъ человѣка. Но этимъ теологія вовсе не разрѣшаетъ интересующій психолога вопросъ; психологъ идетъ далѣе и ставитъ такой вопросъ: если образцы высокаго альтруизма вложены въ совѣсть исключительную личность вѣроучителя, то какія же особенности должны были быть присущи натурѣ этого вѣроучителя, которыя помогли ему побороть въ себѣ свою естественную волю и придать своему примитивному себялюбивому альтруизму наивысшую форму т. е. довести его до самопожертвованія? Этимъ мы рѣшимъ вопросъ вообще—какія физическія и духовныя особенности обязательно должны быть присущи натурѣ человѣка дабы онъ могъ воспринять изъ области религіи лучшіе образцы, другими словами, могъ изъ понять и затѣмъ, уже самостоятельно выйти на широкій путь нравственнаго обновленія?

Мы уже сказали, что чувства, которыя мы привыкли называть альтруистическими (alter—другой), встрѣчаются тоже и въ мірѣ животномъ, но только въ своихъ примитивныхъ формахъ. Посмотримъ, что сьумѣлъ сдѣлать человѣкъ изъ этихъ унаслѣдованныхъ имъ отъ предковъ инстинктовъ; и какія условія способствовали ихъ эволюціи, т. е. въ силу чего и какую форму приняли въ человѣкѣ *симпатія, уступчивость, сдержанность, терпѣніе, обуздываніе* своей воли, *взаимопомощь* и прочія проявленія самообладанія, базировавшія въ первобытныхъ сообществахъ, какъ мы это видѣли, на чисто природномъ, основномъ общественно-родительскомъ инстинктѣ? Мы выше указали, что этотъ инстинктъ самымъ прямымъ путемъ привелъ къ сдержанности, къ уступчивости, и тѣмъ, конечно, облегчилъ сожитіе между собой членовъ сообщества. Теперь посмотримъ, какимъ путемъ, благодаря сознанію, расширился въ человѣкѣ

этотъ основной природный инстинктъ и крѣпла въ борьбѣ съ животными инстинктами воля, принявшая наконецъ ту высоко-альтруистическую форму, которая вошла уже въ высоко-нравственный кодексъ жизни.

Чувство нѣкоторой уступчивости и сдержанности въ мѣрѣ животныхъ принимаетъ въ человѣкѣ уже *сознательную* форму обуздыванія своихъ природныхъ инстинктовъ; онъ сознательно чувствуетъ что обуздываніе своихъ животныхъ страстей и вообще, всякое проявленіе самообладанія могутъ послужить *ему же самому* въ пользу въ томъ отношеніи, что и ему могутъ отплатить въ свое время тѣмъ-же. Дѣти всегда относятся мягче къ тѣмъ дѣтямъ, которыя ихъ не раздражаютъ, которыя умѣютъ сдерживать свои порывы; къ такимъ дѣтямъ они и менѣе придирчивы; мягкость вызываетъ въ отвѣтъ такую же мягкость, и между дѣтьми восстанавливается симпатія одинаково полезная и пріятная обѣимъ сторонамъ. Точно то-же бываетъ и между взрослыми, симпатія у которыхъ основана на томъ, что стороны обоюдно заставляютъ вибрировать, одна въ другой, тѣ струнки, которыя присущи натурѣ человѣка. Мимо человѣка по натурѣ сердобольнаго незамѣченно пройдетъ цѣлый рядъ женщинъ, и красивыхъ, и умныхъ, и смѣлыхъ, и страстныхъ, и т. д.; замѣтитъ же онъ между ними лишь ту, которая своимъ сердобольнымъ сердцемъ невольно заставила вибрировать въ немъ струнки, симпатизирующія этому человѣчному чувству сердоболія. Шекспиръ, глубокий знатокъ человѣческаго сердца, рисуетъ намъ въ „Отелло“ яркій примѣръ взаимнаго обязательства симпатій. Отелло говоритъ, что Дездемона, *участливо* выслушавъ его печальный рассказъ о себѣ, своимъ сочувствіемъ выказала ему симпатію, которая такъ глубоко задѣла его за живое, что ей въ отвѣтъ онъ ее полюбилъ. Въ этомъ-то и заключалось все то колдовство надъ Дездемоной, въ которомъ обвиняли Отелло. Конечно въ первобытномъ обществѣ симпатія, ведущая къ взаимопомощи и къ защитѣ другъ друга, не шла въ разрѣзъ съ насущной пользой и потребностями каждаго члена въ отдѣльности; свое личное благо было у всѣхъ на первомъ планѣ. Сдержанность и уступчивость въ первобытномъ обществѣ, безъ сомнѣнія имѣющія характеръ нѣкотораго лишенія въ пользу другихъ, нельзя назвать высоконравственнымъ альтруизмомъ; такая сдержанность вытекаетъ не изъ высшихъ побужденій духа а скорѣй изъ соображеній чисто практическаго характера, напоминающихъ бывшія отношенія помѣщиковъ къ своимъ крѣпостнымъ, отношенія какъ будто и альтруистическія, а въ сущности вытекавшія изъ грубаго эгоизма—помѣщики заботились о здоровьѣ рабовъ, о ихъ благополучіи только изъ боязни ослабить рабочую силу, и тѣмъ нарушить свое собственное благосостояніе. Такой себялюбивый альтруизмъ, въ дальнѣйшемъ, получаетъ нѣсколько другую окраску. По мѣрѣ выростанія сознанія, по мѣрѣ *развитія души, фантазій*, способной окрылять полную всякихъ недочетовъ жизнь, мысль улетаетъ далеко за предѣлы обычно-нравственнаго строя жизни; ей открываются уже болѣе широкіе горизонты; она рисуетъ себѣ уже болѣе широкія формы нравственности; симпатія къ людямъ и умѣніе владѣть собой, сдерживать себя, крѣпнуть и человѣкъ начинаетъ уже болѣе строго относиться къ своимъ себялюбиво-альтруистическимъ поступкамъ. Первоначальная идея личной пользы, личнаго блага вырастаетъ, расширяется, и идея пользы *для себя лично* превращается въ идею пользы уже *для общества*, для націи, для человѣчества: и таковой входитъ она въ религіозныя

сферы. Проявляясь въ болѣе высшихъ формахъ и передаваясь по наслѣдству, поступки дѣлаются уже предметомъ *общественной оцѣнки*; а члены общества начинаютъ уже дорожить общественнымъ одобреніемъ, которое стало придавать поступку, преслѣдовавшему первоначально чисто утилитарную цѣль, характеръ уже извѣстной *доблести*. Такимъ образомъ, бдительность въ животномъ царствѣ, имѣвшая чисто утилитарный характеръ, подверглась въ первобытномъ человѣческомъ сообществѣ уже сознательному критериуму; людей болѣе бдительныхъ въ обереганіи людей слабыхъ стали уже отличать. Въ современномъ же культурномъ обществѣ обереганіе людей, иначе говоря, оказаніе помощи слабымъ, считается уже *нравственною доблестью*. А разъ общественнымъ мнѣніемъ установлена идея нравственной доблести, она становится уже тѣмъ исходнымъ пунктомъ, изъ котораго, благодаря глубокимъ отзывчивымъ натурамъ, развиваются болѣе высшія формы общественной нравственности. Вотъ въ общихъ словахъ ходъ развитія нравственной идеи, которая никогда не могла-бы принять высоко-альтруистическое направленіе, если бы сознаніе не помогло человѣку развить и окрылить въ обществѣ съ другими людьми глубоко сидящій въ немъ природный родительскій инстинктъ. Глубокія, отзывчивыя натуры имѣли громадное вліяніе на ускореніе *темпа* этого нравственнаго метаморфоза. Если теперь читатель попроситъ психологію объяснить ему, что именно побудило эти глубокія натуры находить наслажденіе въ лишеніи, въ самопожертвованіи, то ей придется дать отвѣтъ въ униссонъ съ теологіей, а именно: эта особенность вложена въ нихъ свыше. Благодаря посѣтившему ихъ откровенію онѣ заглянули такъ далеко впередъ, такъ глубоко внутрь человѣка, что должны миновать тысячелѣтія, десятки тысячелѣтій покуда человѣку удастся исполнить и то лишь малую часть ихъ завѣтовъ. Въ этомъ-то и заключается все величіе такихъ выдающихся натуръ, которыхъ народъ, затрудняясь найти имъ подобающее мѣсто на землѣ, весьма послѣдовательно ставитъ иногда въ то либо другое отношеніе къ Богу. Для насъ же всегда останется тайной, почему откровеніе посѣтило одного, другаго задѣло лишь крылышкомъ, а отъ третьяго вовсе отскочило. Если психологу и удастся на самоопытѣ выяснитъ нѣкоторыя условія, способствовавшія коренному перерожденію примитивной души человѣка, то этимъ обрѣтеть онъ весьма мало такъ какъ въ метаморфозѣ духа замѣшано слишкомъ много факторовъ. Сдѣлаемъ слабую попытку вникнуть въ психику глубокой, двигающей нравственную идею отзывчивой души.

Первымъ дѣломъ, такія глубокія, отзывчивыя души должны обладать сильно развитой *здоровой фантазіей*, т. е. фантазіей, отнюдь не теряющей въ своихъ полетахъ связи съ дѣйствительностью, фантазіей, подсказанной имъ свыше въ видѣ чего-то такого, что продуктивно, насущно могло бы двигать обычную жизнь человѣка по нравственному пути. По всѣмъ направленіямъ нашей обычной жизни имѣются недочеты; но не всякій чувствуетъ желаніе ихъ дополнить и исправить; а главное, не всякій способенъ принимать эти недочеты близко къ сердцу; не у всякаго достаточно силы воли, необходимой для ихъ исправленія. Для того надо уметь мысленно взлетать въ высшія сферы, откуда открывается горизонтъ болѣе обширный, болѣе чистый чѣмъ тотъ, который виденъ обыденному человѣку. Для того надо обладать широкой фантазіей, т. е. самозарожденной въ человѣкѣ способностью видѣть духовнымъ окомъ то, чего нѣтъ но что для всѣхъ желательно, способностью, которая покуда

есть тайна. Житейскіе недочеты мучаютъ такого гиперестезика (человѣка съ повышенной чувствительностью), онъ не можетъ, какъ это дѣлаетъ большинство, съ ними помириться; онъ борется съ ними до тѣхъ поръ, покуда не изобразить свою фантазію какимъ нибудь внѣшнимъ образомъ, покуда не скомбинируетъ изъ стараго нѣчто новое. Это мучительное состояніе духа есть одна изъ тѣхъ пружинъ, которая толкаетъ чувства по эволюціонному пути. Сколько надо было внутренно перечувствовать, чтобъ создать нѣчто такое, что могло бы захватить человѣка глубоко за душу, вывести его изъ обыденнаго инертнаго состоянія прозябанія! Безъ развитой фантазіи не мыслима развитая душа; и наоборотъ, безъ развитой души нѣтъ развитой фантазіи; это двѣ сестры, которыя живутъ между собой дружно и другъ другу помогаютъ двигать впередъ человѣчество. И такъ, развитая фантазія — этотъ даръ небесъ — есть *conditio sine qua* поп окрыленія, одухотворенія, дополненія, развитія грубой реальной животной жизни со всѣми ея первобытными, прирожденными инстинктами. Чувство же восхищенія въ людяхъ твореніемъ подобной развитой фантазіи, иначе говоря, чувство роста своихъ духовныхъ силъ, и есть то, что называется сознаниемъ своего *человѣческаго достоинства*. Въ религіи это чувство роста называется вѣрой. За тѣмъ, мы знаемъ, что всякая мысль, какъ бы абстрактна она ни была, обязательно отзывается въ насъ какимъ нибудь физиологическимъ *рефлексомъ* часто нами даже вовсе не замѣчаемымъ; напр. при неловкомъ положеніи въ обществѣ, люди начинаютъ кашлять; или, отвергая гнусное предложеніе, мы невольно закрываемъ глаза, отворачиваемъ лице; или, описывая ужасное зрѣлище, мы плотно закрываемъ глаза; или, при угрызеніи совѣсти, мы хватаемся за грудь какъ будто тамъ сидитъ совѣсть; или, при ощущеніи горя, чувствуется боль подъ ложечкой (по народному — сердце болитъ).

Всѣ эти рефлексы, какъ слѣдствіе проводимости нервныхъ волоконъ, суть не что иное, какъ мышечныя сокращенія, своеобразно сопутствующія всякую эмоцію по своему. Они способны, какъ это мы часто видимъ, дѣйствовать заразительно на другихъ; напр. утки, въ подраженіе одной, вдругъ всѣ начинаютъ одновременно нырять; или, вой собаки можетъ заразить и другихъ собакъ. Повальное бѣснованіе въ Средніе вѣка католическихъ монахинь всѣмъ извѣстно. Смѣхъ, слезы точно также заразительны; аплодисменты въ театрѣ и другія, какъ выражается Тардъ, преступленія толпы, всѣ одинаково основаны на заразительности мышечныхъ сокращеній. Физиологи утверждаютъ, что эта проводимость нервныхъ волоконъ способна увеличиваться если только часто возбуждать ихъ въ одномъ и томъ же направленіи; другими словами, человѣкъ способенъ дѣлаться *чувствоспособнѣе*; такъ, что тотъ, кто испыталъ на своей жизни много горя, тотъ отзовется къ чужому горю и живѣе и глубже чѣмъ тотъ, кто съ горемъ не знакомъ. Отъ этой-то чувствительности, присущей индивидуальной натурѣ человѣка и способной передаваться тоже и по наслѣдству, и зависитъ развитіе души, т. е. ея способность живо, какъ бы на яву, рисовать себѣ чужую душу, чувствовать то, что чувствуетъ она. Вотъ это-то сознание измѣненій въ своей нервно-сосудистой системѣ и есть то, что физиологи называютъ *эмоціей*. Безъ гибкой, впечатлительной, склонной отъ природы къ фантазіямъ души, человѣку трудно влѣзть въ чужую душу, трудно вызвать въ себѣ соотвѣтственную ей эмоцію. Безъ нѣкоторой склонности къ мечтательности труд-

оторваться от своей собственной особы и зажить жизнью другого. Кому же все это дано, тотъ навѣрно скорѣй пожалѣетъ страдающаго человѣка, чѣмъ тотъ, кто этого лишень; первый прямо бросится помогать страдающему, а второй скорѣе начнетъ сперва критиковать поступокъ, приведшій страдающаго къ страданію, а уже затѣмъ ему поможетъ; чувствоспособность въ первомъ развита; втораго же она задѣла лишь крылышкомъ.

Эти особенности души, безъ которыхъ чувство альтруизма обречено дремать, заложены глубоко въ самой натурѣ человѣка. Ихъ генизисъ намъ неизвѣстенъ. Врядъ ли найдется такой изслѣдователь, который сѣмѣлъ бы разъяснить, почему одного человѣка влечетъ помочь страждущему а другой отъ него отворачивается. Мы знаемъ только то, что только такія отзывчивыя натуры и могутъ служить для другихъ образцомъ въ дѣлѣ дрессировки воли. Несомнѣнно, что въ великихъ душахъ, имѣвшихъ рѣшительное вліяніе на поступательное движеніе идеи нравственности, взаимодействіе фантазіи и чувствоспособности достигало весьма большой степени и приводило къ тому, что они лучше обыкновенныхъ смертныхъ видѣли и слышали, а главное глубже чувствовали. По своей натурѣ, они были пессимисты, но ихъ пессимизмъ не парализовалъ ихъ духъ, а напротивъ того, онъ его укрѣплялъ. Такой пессимизмъ можно назвать *здоровымъ*. Онъ не порицалъ, какъ это дѣлаютъ обыкновенно пессимисты, шаги, ведущіе къ продолженію жизни, а напротивъ того, одобрялъ все, могущее поспѣшествовать жизни; при столкновеніи со зломъ, онъ долго на немъ не останавливался, а его сейчасъ же тянуло къ добру; онъ не терялъ время а спѣшилъ влить въ жизнь все то хорошее, что только она можетъ дать и любовь, и идеи, и мечты, и идеалы. А дать все это могутъ только натуры чуткія къ страданіямъ людей; и только онѣ способны желать дѣйствительнаго обновленія ихъ жизни; и только натуры незлобивыя и способныя къ чувству жалости могутъ внести въ міръ обновленіе, согласіе и миръ, правосудіе и идею жертвы, которая есть основаніе высшихъ формъ жизни. Таковы должны быть особенности, присущія здоровому пессимизму, особенности которыя даны человѣку свыше. Таковъ здоровый пессимизмъ; у него мозгъ свѣжъ и ничѣмъ не отравленъ. Здоровый пессимизмъ помогать великимъ душамъ болѣе глубоко вникать въ людскія язвы, исходя изъ которыхъ, они давали уже нѣчто болѣе лучшее. Столь близкое великимъ душамъ чувство состраданія не могло не доставлять имъ самимъ страданіе; муки страдающаго рефлексивно отзывались такъ живо въ ихъ развитой фантазіи и въ ея рефлексахъ, что эти великія души начинали сами страдать какъ бы отъ дѣйствительной боли, и, что весьма естественно, они старались тѣмъ либо другимъ способомъ отдѣлаться отъ охватившаго ихъ физическаго безпокойства. Облегчая страдающаго, они тѣмъ облегчали и самихъ себя, что доставляло имъ ощущенія *легкія* и *радостныя*. А потому, воспоминаніе объ оказанной страдающему помощи было всегда сопряжено съ воспоминаніемъ о пережитыхъ радостныхъ ощущеніяхъ, при чемъ состраданіе, какъ естественный продуктъ такихъ отзывчивыхъ натуръ, приводило ихъ къ высоко-нравственному чувству любви къ человѣку какъ къ объекту, способному доставить этой отзывчивой натурѣ *радостныя* минуты. Такимъ образомъ, развитая фантазія, повышенная чувствоспособность, рефлексивное при видѣ страданія состраданіе, легкое радостное, физическое чувство облегченія, ощущаемое послѣ оказанія страдающему помощи, вызванная этимъ радостнымъ чувст-

вомъ любовь къ объекту, доставившему это радостное чувство и т. д., все это суть *пружины*, которыя органически, такъ сказать, стихійно толкали великую душу на сооруженіе дѣлаго этического зданія, Оттого подобныя зданія всегда такъ милы и понятны народу, что матеріалъ для нихъ заимствованъ изъ него же и возвращается къ нему же обратно но уже въ видѣ чуднаго религіознаго зданія, которое народъ воспринимаетъ какъ нѣчто ему какъ будто уже знакомое, но какъ нѣчто такое, что онъ самъ только не могъ высказать, какъ нѣчто въ немъ уже давно бродившее въ видѣ слабыхъ неясныхъ представленій, но вызвать которыя наружу и ихъ освѣтить было подѣ силу только великимъ, глубокимъ душамъ. Совершенно вѣрно сказалъ Паскаль: ты не стремишься бы ко мнѣ, если бы ты уже не чувствовалъ меня въ себѣ. Въ дальнѣйшемъ, расчетъ, опытъ, подражаніе, привычка усиливаютъ въ народѣ воспринятое имъ какъ нѣчто полезное въ дѣлѣ взаимопомощи и взаимозащиты чувство альтруизма; а что полезно, то и не можетъ въ силу естественнаго подбора не совершенствоваться и не укореняться. Въ силу этого, чувство альтруизма входитъ въ привычку и дѣлается уже *общественнымъ инстинктомъ*, по своему проявленію вполне благожелательнымъ въ каждомъ членѣ сообщества *относительно другихъ сочленовъ*, тогда какъ въ началѣ, по своему первобытному генезису, оно было благожелательнымъ въ каждомъ членѣ только *относительно себя самаго*. И такъ выходитъ, что альтруизмъ порожденъ эгоизмомъ. И ничего тутъ нѣтъ ужаснаго, если мы говоримъ, что человѣкъ склоненъ дѣлать добро только изъ за желанія отдѣлаться отъ тяжелаго, эгоистическаго ощущенія. Развѣ не было бы хорошо, если бы воспитать чувствоспособность людей такъ, чтобъ горе другихъ было бы для нихъ тяжелымъ физическимъ ощущеніемъ? Развѣ тогда не воцарился бы альтруизмъ, твердо обоснованный на природномъ отвращеніи человѣка къ тяжелымъ ощущеніямъ? Психологъ назвалъ бы подобный альтруизмъ любовью; физиологъ же посмотрѣлъ бы на это съ точки зрѣнія чувства отвращенія ко всему неприятому, чувства, вложеннаго во все мірозданіе. И оба они были бы правы.

Фраза: *альтруизмъ порожденъ эгоизмомъ* не заключаетъ въ себѣ никакого противорѣчія; здѣсь противорѣчіе лишь кажущееся. Всякій человѣкъ эгоистъ (съ біологической точки зрѣнія); но въ этикѣ дѣло обстоитъ нѣсколько иначе, ибо эгоизмъ въ ней замаскированъ. Постараемся снять съ него маску.

Если строго разбирать, то съ самаго разсвѣта жизни альтруизмъ игралъ не менѣе существенную роль чѣмъ эгоизмъ; и самопожертвованіе не менѣе первобытно, какъ и самосохраненіе. Сперва альтруизмъ имѣлъ не психологическую а *автоматическую* форму. Мы знаемъ, что низшія формы размножаются дѣленіемъ т. е. изъ одного животнаго получаютъ два живущихъ животныхъ; безъ сомнѣнія родители приносятъ въ этомъ случаѣ жертву въ ущербъ себѣ. При размноженіи почкованіемъ, при кладкѣ яицъ, при образованіи плода, при кормленіи дѣтенышей собственнымъ молокомъ и проч. родители тратятъ свою жизненную энергію на образованіе потомства. Раки, науки, несущіе при себѣ тысячи молодыхъ особей, жертвуютъ собой на пользу потомства. Все это конечно только физическій порожденный эгоизмомъ альтруизмъ. Родительская дѣятельность птицъ и млекопитающихъ обыкновенно сопровождается смутными представленіями о выгодахъ для дѣтенышей; но тѣмъ не менѣе ихъ дѣятельность носить характеръ альтруизма т. е. *жертвы*. Душевное

волненіе, эмоція здѣсь еще едва замѣтны; но тѣмъ не менѣе природа этого физическаго альтруизма таже что и психическаго т. е. приносится жертва своимъ собственнымъ тѣломъ Альтруизмъ, будучи сначала только физическимъ, необходимымъ только для продолженія жизни, возвысился въ дальнѣйшемъ до полусознательныхъ формъ и постепенно развиваясь, дошелъ до современныхъ сознательныхъ формъ самопожертвованія, точно такъ же необходимыхъ и теперь для поддержанія общественности, какъ вначалѣ формы альтруизма были необходимы для поддержанія расы. Точно такъ же какъ бессознательный родительскій альтруизмъ развился до сознательнаго родительскаго альтруизма, точно такъ же и семейный альтруизмъ развился постепенно въ альтруизмъ общественный. Въ обществахъ, гдѣ нѣтъ семейнаго альтруизма, не можетъ быть и общественного альтруизма. Все равно какъ въ семействѣ каждый членъ живетъ въ юности на счетъ жертвъ, приносимыхъ ему его предшественниками, точно также и въ обществахъ, каждое поколѣніе въ долгу у предшествующихъ поколѣній, относившихся къ нему альтруистично.

Подраздѣленіе людей на эгоистовъ и альтруистовъ въ своемъ основаніи не совсѣмъ вѣрно. Вѣдь альтруизмъ подсказывается человѣку тоже его же собственнымъ Я, его же собственной но только перерожденной въ духъ альтруизма натурой а никѣмъ и ничѣмъ инымъ. Такъ напр. въ дѣлѣ усыновленія подсказываетъ человѣку альтруистическія мысли никто иной какъ его же собственный эгоизмъ. Было бы неестественно если бы человѣкъ, который самъ себя не врагъ, старался бы жить такими ощущеніями, которыя бы его не удовлетворяли; это была бы не жизнь а только мученіе. А потому, всякій шагъ человѣка альтруиста, въ своемъ основаніи, не можетъ быть не эгоистичнымъ, ибо этотъ шагъ, точно такъ же, какъ и шагъ эгоиста, вынужденъ самой натурой человѣка. Эгоистъ не тотъ, кто любитъ себя; всѣ мы любимъ себя, и альтруистъ любитъ себя, ибо онъ поступаетъ такъ, какъ ему самому пріятно. Многіе полагаютъ, что эгоистомъ можно назвать того, кто ничего другому не даетъ; въ немъ, значить, нѣтъ чувства жалости. Того же, кто отдаетъ другимъ половину своего, того можно назвать только справедливымъ. Тотъ же, кто отдаетъ болѣе половины, тотъ ужъ альтруистъ. Этотъ критеріумъ можетъ показаться слишкомъ строгимъ; но здѣсь вопросъ не въ этомъ а въ томъ, въ какой именно области лежитъ центръ тяжести эгоизма? Все равно, какъ всякому человѣку можно отвести мѣсто или ближе къ глупому или ближе къ умному, такъ и всякій поступокъ можно отнести или ближе къ эгоизму или ближе къ альтруизму. Какъ всякій человѣкъ, какъ бы онъ ни былъ уменъ, въ сущности невѣжда, точно также и всякій поступокъ, какъ бы альтруистиченъ онъ ни былъ, въ сущности эгоистиченъ. Очевидно, что альтруизмъ, какъ продуктъ обновленной, перерожденной природы человѣка, сдѣлался второй натурой такого человѣка и всякій его шагъ въ этомъ духѣ доставляетъ ему личное эгоистическое удовлетвореніе, при чемъ центръ тяжести эгоизма только передвинулся въ немъ изъ міра матеріальнаго въ міръ духовный, т. е. шкурное животное *ощущеніе* своей собственной пользы перешло въ *желаніе* доставить пользу другимъ. При этомъ передвиженіи цѣль жизни расширилась, вниманіе сосредоточилось не столько на собственномъ Я сколько на другихъ людяхъ; душа стала жить не столько своей жизнью сколько жизнью другихъ. Теперь матерія, которая есть альфа и омега всей дѣятельности животнаго, начинаетъ служить человѣку уже инымъ цѣлямъ. Уничтожить матерію онъ не можетъ, но онъ можетъ привести ее въ закономѣрный порядокъ и одухотворить ее въ формахъ гармоничныхъ и

эстетичныхъ. Напр. физическое половое влеченіе, въ первобытной своей формѣ, есть чувство чисто эгоистичное; но въ своемъ высшемъ развитіи оно способно жить болѣе счастьемъ и покоемъ другаго, чѣмъ своимъ собственнымъ; человѣкъ начинаетъ любить другаго какъ себя самаго, перенеся центръ тяжести эгоизма изъ міра грубо-матеріальнаго въ міръ высоко-духовный, въ міръ альтруизма, доходящаго иногда въ широкихъ душахъ, до самопожертвованія, въ то же время нисколько не уничтожая въ себѣ но только подавляя это основное физическое чувство. Съ расширеніемъ альтруизма, конечно растеть и лежащій въ его основаніи эгоизмъ; т. е. чѣмъ больше принесенная ради другаго жертва, тѣмъ радостнѣе и личное чувство жертвователя. Ростъ такого альтруистическаго эгоизма не опасенъ, ибо его центръ тяжести лежитъ не въ матеріальномъ мірѣ а въ мірѣ духовномъ — въ *желаніи* угодить матеріально другому. Значитъ нашъ вопросъ объ автономной выработкѣ нравственнаго чувства, какъ продукта общественныхъ инстинктовъ, сводится къ слѣдующему: какія общественныя условія могли поставить грубый эгоизмъ въ такое положеніе, что онъ *неминуемо* долженъ былъ принять альтруистическое направленіе? Какія пружины заставили человѣка общинно-нравственнаго, котораго никто не обязывалъ снимать съ себя въ пользу другаго послѣднюю свою рубашку, перенести центръ тяжести эгоизма съ себя на другихъ? А если человѣкъ это сдѣлалъ, значитъ онъ чувствовалъ настоятельную въ томъ потребность. Посмотримъ, чѣмъ была обусловлена эта потребность.

Одно изъ самыхъ главныхъ условій, необходимыхъ для того, чтобы альтруистическій поступокъ имѣлъ мѣсто, есть *общественность*; безъ нея онъ вовсе невымыслимъ. Эгоистическій поступокъ не минуемо долженъ быть вреденъ для стойкости общества, которою такъ дорожатъ всѣ общественныя сожительства. Альтруистическій же поступокъ, кромѣ пользы обществу, ничего другаго ему не принесетъ. А потому, всѣ постоянныя общественныя инстинкты *вынужденно* вырабатываются въ альтруистическомъ духѣ; а человѣкъ, какъ общественное животное съ малолѣтства и въ силу долготѣней привычки приобрѣвшій способность къ уступчивости, къ терпѣнію, сталъ подчинять свои личныя желанія, страсти и страстишки уже общественнымъ интересамъ. Такимъ образомъ, человѣку голодному вовсе и не приходитъ на умъ мысль украсть, ибо онъ привыкъ съ малолѣтства сдерживать себя въ этомъ направленіи; а если такая мысль и промелькнетъ у него въ головѣ, то онъ ее сейчасъ же подавить, въ силу привычной боязни нарушить основной, сильный, стойкій *законъ общественности*, а именно, уваженіе чужой собственности, безъ котораго общество не можетъ существовать. Затѣмъ, онъ знаетъ по опыту, что если онъ поддастся менѣе сильному, менѣе стойкому инстинкту и пренебрежетъ болѣе сильнымъ, болѣе стойкимъ, другими словами, если онъ поддастся напр. чувству голода и совершитъ кражу (т. е. нарушитъ общественность), то при воспоминаніи о своемъ поступкѣ, онъ почувствуетъ недовольство самъ съ собой въ силу того, что воспоминаніе о голодѣ, какъ о менѣе сильномъ инстинктѣ (мы часто забываемъ, что голодали), въ немъ улетучится; а воспоминаніе о кражѣ, какъ о нарушеніи болѣе сильнаго, стойкаго общественнаго инстинкта, будетъ точить его совѣсть. Если совѣсть говоритъ слабымъ голосомъ, то появляется лишь сожалѣніе; если же она вопіетъ громко, то появляется уже раскаяніе. Подобный ходъ мыслей дрессируетъ волю, которая такимъ

путемъ привыкаетъ направляться на удовлетвореніе *болѣе сильныхъ, стойкихъ, общественныхъ инстинктовъ* въ ущербъ своимъ собственнымъ болѣе слабымъ. Приведемъ примѣръ. Вамъ поручено провести какое-нибудь общественное дѣло. Вы тратитесь, теряете время, васъ ругаютъ, вы не добѣдаете, не допиваете, вы страдаете, вы вдали отъ своего семейства, васъ оскорбляютъ и т. д. Когда же вамъ удастся довести дѣло до конца, тогда обо всѣхъ перенесенныхъ невзгодахъ какъ-то совѣстно вспомнить, до того всѣ эти нарушенія своихъ собственныхъ мелкихъ интересовъ кажутся мизерными сравнительно съ ощущаемымъ вслѣдствіе удачнаго окончанія дѣла удовлетвореніемъ своего болѣе сильнаго общественнаго инстинкта. Надо полагать, что привычка владѣть собою, привычка лишать себя передавалась, подобно другимъ инстинктамъ, *по наследству*; а человѣкъ послѣ очень долгаго времени пришелъ наконецъ къ убѣжденію, что ему прямо *выгодно* слѣдовать своимъ болѣе постояннымъ общественнымъ инстинктамъ, ибо тогда онъ не будетъ испытывать чувство недовольства, о которомъ мы только что говорили; и общественность, которой онъ такъ дорожить, не будетъ нарушена. Другими словами, ему, какъ общественному животному, прямо выгодно имѣть въ виду пользу другихъ т. е. *выгодно быть альтруистомъ*.

Выгоды получаемыя обществомъ вслѣдствіе альтруистическихъ отношеній его членовъ между собою, весьма очевидны. Если люди будутъ дѣйствовать только эгоистично, имѣя въ виду только свою личную пользу, то обязательно появится между ними вражда и людямъ будетъ труднѣе, вслѣдствіе беспорядка въ обществѣ, выполнять успѣшно свои необходимыя нужды. Въ силу того же можно и честность считать самымъ выгоднымъ образомъ дѣйствій, ибо обманы, напр. въ коммерціи, самымъ прямымъ образомъ могутъ отразиться на дороговизнѣ жизни, на довѣрїи людей другъ къ другу, что въ свою очередь не можетъ не отразиться болѣзненно на правильности и покоѣ общественной жизни. Затѣмъ, если бы не было альтруизма, ведущаго къ поддержанію общественнаго порядка, то всякое благое начинаніе парализовалось бы отсутствіемъ этого порядка, а сама жизнь оказалась бы не безопасной. Альтруизмъ въ дѣлѣ оказанія помощи народнымъ бѣдствіямъ (холера, тифъ и проч.) базируется на томъ же чувствѣ спокойствія, которое почерпаетъ въ своихъ альтруистическихъ поступкахъ человѣкъ, боящійся, что этому бѣдствію можетъ подпасть и онъ самъ и лица ему дорогія. Альтруизмъ въ дѣлѣ народнаго образованія прямо вытекаетъ изъ тѣхъ неудобствъ, которыя ощущаетъ человѣкъ, имѣющій дѣло съ глупостью, съ недобросовѣстностью съ неразвитіемъ и т. д. Однимъ словомъ, всякое улучшеніе въ людяхъ— физическое, умственное или нравственное не можетъ не касаться, тѣмъ либо другимъ способомъ, лично до каждаго, и не можетъ не побудить его изъ за собственной же выгоды, къ альтруистическимъ шагамъ.

Кромѣ житейскихъ успѣховъ и благоденствія, альтруизмъ доставляетъ человѣку еще и большой нравственный покой; вокругъ него образуется прїятная душевная среда изъ людей другъ другу сочувствующихъ, среда, которую ни за какія деньги не въ состоянїи купить себѣ человѣкъ хотя и обладающій всѣми матеріальными средствами, но въ то же время живущій изолированно отъ другихъ. Въ общемъ же, всякое альтруистическое дѣйствіе должно обязательно доставлять удовольствіе, поднимающее уровень жизни, ускоряющее ея темпъ. Все равно, какъ при видѣ страданія въ зрителѣ вызывается тяжелое чувство, точно такъ же и въ альтруистѣ,

при видѣ чужихъ радостей, вызываются чувства радостныя. Въ данномъ случаѣ онъ неоспоримый эгоистъ и ощущаетъ эти чувства подчасъ даже сильнѣе, чѣмъ ощущаетъ чувства чисто эгоистическаго характера грубый эгоистъ, ибо область эстетическихъ наслажденій т. е. таковыхъ, которыя способны возвышать духъ, гораздо общирнѣе для альтруистической натуры, чѣмъ для натуры грубо-эгоистической. Гдѣ эстетика, тамъ на лицо и полетъ фантазіи высье; а улѣтъ высье безъ способности почувствовать радостямъ и печалямъ человѣка весьма трудно, даже невозможно. И такъ, начиная съ самой зари жизни, эгоизмъ находился въ тѣсной связи съ альтруизмомъ; съ теченіемъ времени, по мѣрѣ развитія жизни, ихъ взаимныя услуги все увеличивались и увеличивались. Теперь насъ могутъ спросить: если всюду руководятъ нами инстинкты да инстинкты, то чтоже послѣ того *долгъ* въ силу котораго человѣкъ нравственно обязуется поступать такъ, а не иначе? Сознаніе своего долга передъ обществомъ, иначе говоря, чувство совѣсти есть не что иное, какъ сознаніе того, что человѣку присущъ весьма сильный общественный инстинктъ, частью врожденный, а частью дополненный его индивидуальной жизнью, разсудкомъ и образованіемъ, развитый въ силу естественнаго подбора какъ нѣчто полезное въ жизни и вслѣдствіе того одобренный обществомъ, одухотворенный религіей, въ общемъ же, закрѣпленный привычкой.

И такъ, мы договорились до того, что всякій альтруистическій поступокъ, въ своемъ основаніи, стихійно руководимъ присущими человѣку его эгоистическими, постоянными общественными инстинктами. Замѣтимъ, что не только альтруистическій поступокъ, но и вся наша жизнь есть непрерывное приспособленіе внутреннихъ отношеній (инстинктовъ) къ вѣншимъ отношеніямъ (къ общественности), приспособленіе, въ которомъ и отражается нравственное поведеніе человѣка. Другими словами, *альтруизмъ есть неминуемый и самый естественный продуктъ общественности*, продуктъ самостоятельно заложенный въ человѣкѣ, но развившійся до своихъ максимальныхъ формъ только благодаря религіозному на него воздѣйствію, въ силу котораго человѣку пришлось центръ тяжести эгоизма перенести съ себя на другихъ, причемъ пришлось измѣниться въ обществѣ и характеру борьбы за существованіе—вмѣсто грубой силы стали бороться между собой уже этические чувства; и тотъ, кто проявлялъ ихъ въ болѣе высокой формѣ, тотъ и заслуживалъ наибольшее одобреніе общества; оно его подымало выше другихъ, какъ человѣка наиболѣе сильно сжумѣвшаго выказать свое человѣческое достоинство, иначе говоря, наиболѣе успѣшно сжумѣвшаго побороть въ себѣ животное, сжумѣвшаго укрѣпить свою волю, сжумѣвшаго неразрывно-связанному съ нимъ эгоизму, отъ котораго ему никогда не отдѣлаться, дать альтруистическое направленіе, сжумѣвшаго перенести центръ тяжести эгоизма изъ грубой области животныхъ инстинктовъ въ радостную, свѣтлую область лишеній и жертвъ ради другихъ; однимъ словомъ, сжумѣвшаго убѣдить себя, что самый презрѣнный видъ малодушія есть жалость къ себѣ. Въ этомъ то *дисциплинированіи инстинктовъ* и заключается вся задача этики; это-то сознательное дисциплинированіе въ себѣ первобытной, животной натуры, состоящее въ созидательной переработкѣ эгоизма въ альтруизмъ, причемъ перерожденная натура начинаетъ жить совсѣмъ иными инстинктами, это-то дисциплинированіе и есть та особенность, которая выдѣляетъ человѣка изъ міра животныхъ. Лишеніе столь

неприятное первобытной натурѣ, становится теперь уже наслажденіемъ, и степень этичности человѣка опредѣляется теперь уже степенью его готовности жертвовать собой ради другихъ, готовности, теперь вытекающей уже изъ обновленной природы, а не изъ чисто-практическихъ, какъ раньше, расчетовъ, и не изъ страха грядущаго возмездія.

Въ каждомъ альтруистическомъ поступкѣ, человѣкъ проявляетъ свою свободную волю, которую онъ можетъ выказать только тогда, когда въ немъ происходитъ борьба. Вѣдь не тотъ человѣкъ свободенъ духомъ, который, захотѣвъ кушать, беретъ хлѣбъ и его ѣсть — это дѣлаютъ всѣ животныя; а тотъ свободенъ духомъ кто, захотѣвъ кушать, беретъ хлѣбъ и отдаетъ его другому. Здѣсь мы видимъ *борьбу* съ понудительными причинами. Такъ, что свободная воля коротко и образно представляетъ изъ себя *символъ*, въ которомъ сгруппированы всѣ тѣ причины, вынудившія человѣка выйти побѣдителемъ изъ *борьбы съ самимъ собой*.

То же самое можно сказать и объ альтруизмѣ. Альтруизмъ есть символъ коротко и образно рисующій намъ весьма сложное психическое состояніе человѣка, которое *вынуждаетъ* его, дабы его нравственное самочувствіе было удовлетворено, лишать себя въ пользу другихъ. Выйти побѣдителемъ изъ борьбы съ самимъ собой есть величайшій триумфъ человѣка, *величайшее откровеніе*, посѣтившее его свыше. Апостолъ Павелъ (2 кор. 3, 17) сказалъ: „Гдѣ духъ Господа, тамъ свобода“. Очевидно, что апостолъ относилъ свободу воли, проявляющуюся въ человѣкѣ въ видѣ самоосвобожденія отъ сидящаго въ немъ животнаго, къ области религіи. И нельзя съ нимъ не согласиться, что другаго мѣста, какъ въ религіи—этой области лучшихъ формъ жизни—и нельзя найти для альтруистическихъ поступковъ. Вошедшія въ религію тѣмъ или другимъ путемъ высшія формы альтруизма дѣлаются въ ней нравственными образцами для тѣхъ слабыхъ духомъ людей, которыхъ откровеніе задѣло лишь крылышкомъ. Религія *деспотично* указываетъ имъ лучшія формы, и тѣмъ способствуетъ эволюціи ихъ нравственнаго чувства. И только въ религіи, какъ въ единственномъ источникѣ, могутъ люди почерпнуть себѣ матеріалъ и силу для самообновленія. Религія не ломаетъ духовный міръ человѣка; она его только направляетъ; она направляетъ животныя инстинкты человѣка на путь болѣе широкій, болѣе мягкій, болѣе человѣчный, и указываетъ для того средства. Повторимъ еще разъ—религію нельзя навязать человѣку совсѣмъ чуждому идей въ ней вложенныхъ, все равно какъ нельзя объяснить ребенку биномъ Ньютона—для него это было бы скачкомъ въ мышленіи. Все равно, какъ разумъ можетъ освѣтить только то, что доступно сознанію, точно такъ же и религія можетъ извлечь изъ человѣка на свѣтъ Божій только то, что въ немъ уже заложено въ видѣ сѣмянъ, и что только ждетъ случая себя проявить. Если лекцію юо гигиенѣ тѣла можетъ понять только тотъ, кто болѣе или менѣе научно развитъ, то лекцію о гигиенѣ души можетъ понять только тотъ, у кого душа болѣе или менѣе уже развита.

Для окончанія нашего очерка, сдѣлаемъ нравственную оцѣнку двухъ самоотверженныхъ поступковъ по виду совсѣмъ одинаковыхъ а по ихъ нравственному достоинству весьма отличныхъ одинъ отъ другого. Нельзя безъ умиленія смотрѣть на маленькую пташку, мгновенно, безразсудно, самоотверженно-кидающуюся, ради защиты своихъ птенцовъ, на большую собаку. Точно такъ же нельзя не преклониться передъ человѣ-

комъ, тоже мгновенно, безразсудно, самоотверженно кинувшимся очертя голову спасать утопающаго ему вовсе чужаго человѣка. Оба эти поступка вытекають первый, изъ чисто животнаго *родительскаго инстинкта* а второй, изъ того же но только расширеннаго родительскаго инстинкта, принявшаго форму, о чемъ уже была рѣчь выше, *инстинкта общественнаго* какъ бы родительски помогающаго слабому сочлену и защищающаго его въ опасностяхъ. Но отчего поступокъ пташки никто не называетъ нравственнымъ, а скажутъ, что онъ совершенъ инстинктивно? Затѣмъ, отчего у поступка человѣка, совершившаго точно такой же, какъ и пташка, поступокъ, никто не отниметъ нравственнаго характера? Если мы скажемъ, что разница въ томъ, что человѣкъ дѣйствовалъ сознательно, а пташка инстинктивно, то это будетъ не совсѣмъ вѣрно, ибо бывають случаи, когда и человѣкъ совершаетъ поступки безъ всякаго взвѣшиванія обстоятельствъ; а затѣмъ бывають и такіе случаи, что и животное, прежде чѣмъ рѣшиться на поступокъ колеблется, какъ-бы взвѣшивая обстоятельства, и уже потомъ рѣшаетъ какъ ему быть. Въ чемъ же тутъ разница? А въ томъ, что человѣкъ, благодаря сознанию, способенъ *критически* относиться къ своимъ прошлымъ поступкамъ, къ своимъ инстинктивнымъ побужденіямъ, способенъ ихъ сознавать т. е. *одобрять* или *осуждать*—въ этомъ-то и заключается его нравственное достоинство. Мы не имѣемъ основанія предполагать, что какое-либо изъ животныхъ обладаетъ этою способностью. Оттого поступокъ пташки и нельзя будетъ назвать нравственнымъ, онъ всегда будетъ чисто инстинктивнымъ. Поступокъ же человѣка разъ навсегда сознательно порѣшившаго, что, при извѣстныхъ обстоятельствахъ, ему слѣдуетъ поступать такъ-то а не иначе, и согласно этому дисциплинировавшаго свою волю, самоотверженный поступокъ такого человѣка всегда будетъ имѣть нравственный характеръ, независимо отъ того, чѣмъ именно руководился человѣкъ въ моментъ совершенія поступка, взвѣшивалъ ли онъ разумно обстоятельства, дѣйствовалъ ли онъ въ силу наслѣдственно или индивидуально-разумно приобрѣтенной привычки поступать именно такъ, а не иначе, или же поступалъ онъ стихійно только въ силу непосредственно охватившаго его въ этотъ моментъ общественнаго инстинкта; здѣсь главная суть не въ преобладаніи тѣхъ или другихъ импульсовъ, руководившихъ имъ въ этотъ моментъ, а въ томъ, что человѣкъ, въ отличіе отъ животнаго, способенъ къ *дисциплинированію* своихъ инстинктовъ. Ничего подобнаго не встрѣчается въ животномъ мірѣ. Та-же пташка, самоотверженно защищая своя дѣтей, когда заговоритъ въ ней осенью инстинктъ отлетана югъ, та-же пташка, не способная руководить своими инстинктами, легко забываетъ свой только-что пересиливавшій всѣ остальные материнскій инстинктъ и, поддавшись инстинкту отлета, легко и безъ всякаго сожалѣнія покидаетъ своихъ недоразвившихся птенцовъ, жалкое положеніе которыхъ недоступно ея слабо развитому сознанию; да и ея пернатые друзья не осудятъ ее за ея эгоистичный поступокъ. Совсѣмъ иначе поступить въ подобномъ случаѣ человѣкъ. Тотъ кому доступны только низшія религіозныя формы, напр. страхъ грядущаго возмездія, тотъ уже изъ страха наказанія за содѣянный грѣхъ забудетъ себя и постарается не бросить дѣтей. Въ немъ родительскій животный инстинктъ уже *слегка* расширенъ. Тотъ же, кому открылись высшія формы религіи, преподающей образцы человѣколюбія, терпѣнія, лишенія, оказанія помощи, принесенія жертвы и проч., тотъ не броситъ

дѣтей уже потому, что самъ фактъ бросанія противень его религіозному сознанию, нарушение котораго неминуемо доставить ему нравственныя терзанія. Въ немъ животный родительскій инстинктъ уже *значительно* расширенъ Какъ въ первомъ, такъ и во второмъ случаѣ, мотивы поступковъ одинаково исходятъ изъ области религіи. Изъ этой же области черпаютъ себѣ образцы и тотъ, въ комъ животный родительскій инстинктъ расширенъ до своихъ *максимальныхъ* размѣровъ, т. е. до самопожертвованія.

Намъ кажется, что наука, усматривая генезисъ нравственнаго чувства въ утилитаризмъ и въ общественныхъ инстинктахъ, не грѣшитъ противъ истины. Она не прибѣгаетъ подобно теологіи къ шаткому малообоснованному предположенію о заимствованіи нравственнаго чувства вообще, исключительно только изъ религіозныхъ сферъ какъ бы отдѣленныхъ отъ жизни. Наука ставитъ возникновеніе нравственнаго чувства въ зависимость *только отъ естественной причинности и стихійности*. Она роется только въ природныхъ инстинктахъ животнаго царства; выслѣживааетъ измѣненія, которымъ они подвержены въ силу социальныхъ условій, и наконецъ, признаетъ одухотворяющее на нихъ воздѣйствіе религіозныхъ сферъ. Намъ кажется, что наука, подходящая къ разрѣшенію этого труднаго вопроса о происхожденіи нравственнаго чувства не только съ одной духовной стороны, какъ это дѣлаетъ теологія, но тоже и со стороны физической, стоитъ на болѣе твердой чѣмъ теологія почвѣ.

Прошло девятнадцать столѣтій съ тѣхъ поръ, какъ зажглась лучезарная звѣзда, способная привлечь къ себѣ не только трехъ волховъ, но и весь міръ, а человекъ все еще сомнѣвается въ томъ, что онъ есть по своей натурѣ животное, которое можетъ облагородить себя только благодаря ученію Христа, сомнѣвается въ томъ, что причисленіе себя къ лику животныхъ есть уже первый шагъ религіознаго характера, ибо надо исходить изъ низшаго дабы понять высшее.

А. А. Берсъ.

